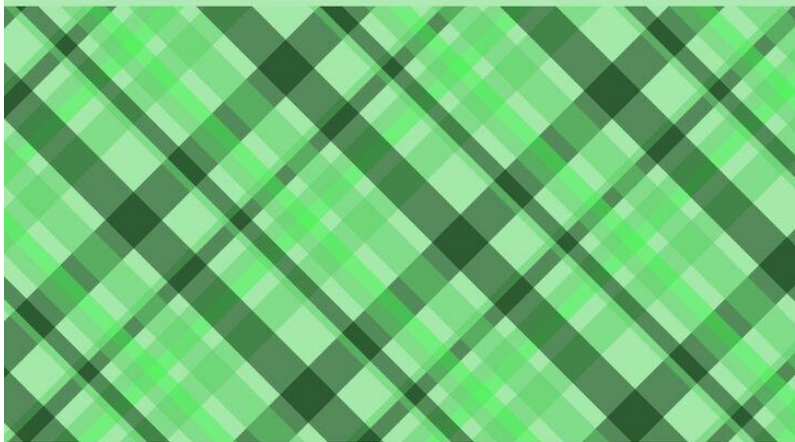


12+

Юрий Драздов



**КЛАСС: КОВЕР-
САМОЛЕТ. КНИГА 6**

Юрий Драздов

Класс: Ковер-Самолет. Книга 6

<https://litres.ru/74218777>

ISBN 9785007036481

Аннотация

Старая Тумбочка хранит память о погибшей мебели, гномах и последней надежде. Когда армия Пылесосов стирает живой мир, а загадочный Баг Нуля грозит абсолютной пустотой, только ковёр без памяти, его треснувшая швабра и маленький коврик Пушок могут дать отпор. Цена победы — отказ от собственного спасения, полёт ценой жизни и танец, скрепляющий трещины золотой нитью. Это история о том, что даже сломанные могут любить, а пыль памяти сильнее любого кода.

Содержание

Глава 1. Героизм Коврика	6
Часть 1. Запах горелого дерева	7
Часть 4. Отражение, которое жгло	22
Часть 5. Гул, который стих	28
Часть 6. Клятва над обломками	33
Часть 8. Тишина перед рассветом	41
Глава 2. ГГ в ярости	45
Часть 1. Гвоздь, который упал	46
Часть 2. Дрожь, которая не подчиняется	53
Часть 3. След на холодном камне	58
Часть 4. Узел	62
Часть 6. Возвращение	70
Часть 7. Гвоздь, который остался	75
Глава 3. Мирная передышка	81
Часть 1. Утро без гула	82
Часть 2. Семья, собранная заново	88
Часть 3. Общий ужин на полу	94
Часть 4. Разговор у подстилки	101
Часть 5. Первая улыбка Пушки	106
Часть 6. Клятва на затишье	110
Часть 8. Тёплая пыль	117
Глава 4. Зов Создателя	122
Часть 1. Тишина, которая звенит	123

Класс: Ковер- Самолет. Книга 6

Юрий Драздов

© Юрий Драздов, 2026

ISBN 978-5-0070-3648-1 (т. 6)

ISBN 978-5-0070-3133-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Героизм Коврика

Часть 1. Запах горелого дерева

Тишина в Гнезде после возвращения из Стеклоанной Горки была не той, которая лечит раны. Она была той, которая их прижигает. Тяжёлая, сухая, насыщенная запахом горелого дерева и старой, въевшейся в трещины копоти. Каждый вдох (если у тумбочек есть вдох) давался Тумбочке с трудом, как будто воздух превратился в вату, в старую, выцветшую набивку дивана, которую никто не решается выбросить, но и не может использовать.

Серый, липкий свет просачивался сквозь щели в потолке Гнезда — те самые щели, через которые когда-то, в первые дни после отключения респауна, падал жирный, чёрный пепел. Теперь пепла почти не осталось. Осталась только усталость. И запах. Запах умирающего дерева — сладковатый, тягучий, как старая патока, как прощание, которое не хочет заканчиваться, но вынуждено.

Тумбочка стояла у входа в Гнездо, маленькая, старая, почти пустая. Её средний ящик — тот, где ещё недавно пульсировала броня Дивана-Дракона, — был закрыт намертво. Она боялась открыть его. Боялась, что если откроет, то увидит пустоту. Абсолютную, беспощадную, не оставляющую надежды. Броня Дивана почти иссякла. Осталось, может быть,

на одно применение. На один-единственный купол. На одну молитву.

Её петли не скрипели. Она запретила им скрипеть. Скрип мог разбудить тех, кто ещё мог спать. А спать должны были все, потому что завтра — или уже сегодня, она не различала времени в этой вечной серости — должно было случиться нечто, от чего у неё не было защиты.

Линк сидел у стены, привалившись спиной к холодно-му, влажному камню, и перевязывал рану. Его перевязанное плечо снова было мокрым — старая рана открылась, когда он оттаскивал раненого стула от Пылесоса у Стекло-анной Горки. Он накладывал повязку зубами, потому что здоровая рука дрожала слишком сильно, чтобы затянуть узел. Лицо его было бледным, осунувшимся, с тёмными кругами под глазами, которые, казалось, уходили вглубь черепа, как трещины в старом, разошедшемся дереве. Он не жаловался. Он просто делал. Как всегда.

Корвин спал стоя. Старый паладин прислонился к стене у входа в Гнездо, его меч был воткнут в землю между ног, руки лежали на эфесе. Он не спал уже третьи сутки, и сейчас его тело, наконец, взяло своё — глаза закрылись, дыхание стало ровным, глубоким, почти не слышным. Но даже во сне он не выпускал меч. Пальцы сжимали рукоять так, что костяшки

побелели. Потому что даже во сне он знал: враг близко.

Метла-Ветров стояла в проходе, ведущем к южному туннелю, и слушала. Её древко, когда-то чёрное, из настоящего дуба, не тронутого магией, теперь было покрыто сеткой глубоких царапин. Щетина — та, что осталась, — была выдрана в нескольких местах, и на её месте зияли тёмные, почти чёрные проплешины. Она напоминала старого, битого зверя, который слишком долго сражался и слишком много потерял. Но она стояла. Она слушала. Её щетина, даже повреждённая, ещё могла улавливать вибрации, которые не слышали другие.

И она слышала их дыхание.

Она откатилась к Тумбочке, остановилась рядом, коснулась её петлёй — осторожно, как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти.

— Я слышу их, — прошептала Метла. Её голос был шуршащим, сухим, как ветер в сухой траве, но в нём не было прежней сухости. Была влажность. Были слёзы (если мётлы могут плакать). — Они не отступили. Они перегруппировываются. Я слышу, как они перекачиваются в нижних туннелях. Тысячи. Десятки тысяч. Они ждут сигнала.

— Сколько у нас времени? — спросила Тумбочка. Её голос был резким, скрежещущим, как металл по стеклу, но в нём не было обычной колкости. Была только усталость. И принятие.

— Час, — ответила Метла. — Может быть, два. Их король завис, но у них есть другие командиры. Меньшие. Они перестраиваются. И когда они поймут, что их передовой отряд уничтожен, они поднимутся все. Разом. И тогда...

— Я знаю, — перебила Тумбочка. — Тогда мы умрём.

Она не сказала «может быть, умрём». Не сказала «постараемся выжить». Она сказала «умрём». Потому что врать себе было хуже, чем врать другим. А врать другим она не умела. Она умела только хранить. И надеяться. И иногда — свидетельствовать смерть.

Она проверила Слезу Стеклянного Полумесяца. Маленький, золотистый, пульсирующий полумесяц лежал на осколке стекла рядом с Эллой. Он был тусклым — почти не светился. Его пульсация была слабой, неровной, как у старого, больного сердца, которое вот-вот остановится. Слеза держала Эллу на грани уже несколько дней. Не давала умереть, но и не позволяла проснуться. Но её силы кончались. Ещё немного — и она погаснет окончательно. И тогда Элла

умрёт. Не сразу, но умрёт. И вместе с ней — надежда на то, что Рувим когда-нибудь откроет глаза.

Рувим лежал рядом на подстилке из обгоревших тряпок, неподвижный, почти мёртвый. Его правый край — единственное, что осталось от когда-то огромного, пушистого тела, — был повреждён на девяносто девять с половиной процентов. Нити торчали в разные стороны, как сломанные прутья, как пальцы утопленника, как вопросы, на которые никто никогда не ответит. Левого края не было вовсе. Не обгорел, не истлел, не рассыпался — именно исчез. Как будто его никогда не существовало. Только одно маленькое пятнышко в самом центре правого края — там, где когда-то был гвоздь Гролла, — ещё сохраняло слабое золотистое свечение. Пыль жизни. Крошечный остров в море умирающей памяти.

Пушок лежал между ними, свернувшись в маленький, почти правильный прямоугольник.

Он не спал.

Тумбочка заметила это не сразу. Она стояла у входа, прислушиваясь к гулу, который доносился снизу, из глубины туннелей. Гул стал тише — не потому, что Пылесосы уходили, а потому, что они затаились. Они ждали. Как хищники перед броском. Как судьба перед приговором.

Но когда она обернулась, чтобы проверить Пушка в последний раз перед тем, как снова выйти на стражу, она замерла.

Пушок не спал.

Его маленькое, золотистое тело пульсировало неровно, тревожно, почти болезненно. Он не лежал неподвижно, как обычно. Он чуть-чуть шевелился — перекатывался с боку на бок, вытягивался, сжимался. Как будто ему снился кошмар. Или, может быть, он видел то, что не могли видеть они.

Тумбочка подкатилась ближе, приоткрыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый — и коснулась его своей самой чувствительной петлёй. Его пульс был неровным, сбивчивым, как у того, кто бежал и не может остановиться. Она чувствовала в нём нечто, чего не чувствовала раньше.

Не страх.

Предчувствие.

Он знал, что враг близко. Не слышал — знал. Пылью. Тем, что древнее кода. Тем, что связывало его с матерью, с отцом,

с этим местом, с этой войной. Он чувствовал запах горелого дерева Эллы, холодный пепел Рувима и металлический, острый, как лезвие, запах Пылесосов. Он чувствовал их всех.

И он не мог спать.

Часть 2. Пульс, который не слушается правил

Внутренний мир Пушкина не был похож на мир взрослых. У него не было слов. Не было образов. Не было воспоминаний. У него были только ощущения. Пульс. Тепло. Холод. Вибрация.

Он не знал, как зовут его мать. Не знал, как зовут отца. Не знал, что такое «Тумбочка» или «Метла». Он знал только одно: есть те, кто тёплый, и есть те, кто холодный. Тёплые — это свои. Те, кто пульсирует в такт с ним. Те, кто пахнет жизнью.

Холодные — это чужие. Те, кто не пульсирует. Те, кто пахнет металлом и маслом. Те, кто не дышит.

Сейчас холодных стало много. Очень много. Они шевелились там, внизу, в темноте. Они были голодны. Они хотели съесть тепло. Стереть его. Забыть.

Пушок не понимал, что такое «стереть». Но он чувствовал, как пульс матери слабеет с каждым часом. Как пятнышко на краю отца мерцает, как свеча на ветру, которая вот-вот погаснет. И он чувствовал, что если холодные поднимутся — тепла не останется. Вообще. Ни у кого.

Он не знал, что такое «героизм». Не знал, что такое «жертва». Он знал только одно: нельзя ждать. Если ждать — всё исчезнет. И тогда останется только холод. И тишина. И забвение.

Он не слушался правил.

Пушок встал.

Он не научился этому — он просто сделал. Его маленькое, золотистое тело напряглось, развернулось, и он принял форму. Не ту, которую он использовал обычно — неправильный, асимметричный, с неровными краями, который напоминал ковёр, но не был им. Другую. Плотную. Почти круглую. Комок. Каплю. Что-то, что могло катиться. Быстро.

Он покатился к выходу из Гнезда.

Тумбочка не заметила его сразу. Она стояла у входа, её петли слушали гул снизу, и этот гул заглушал всё остальное.

Но когда Пушок проехал мимо неё, почти коснувшись её левого, треснувшего бока, она вздрогнула.

— Пушок? — прошептала она. — Ты куда?

Он не ответил. Не мог. У него не было голоса. Он простокатился дальше, в темноту туннеля, в ту сторону, откуда доносился гул, — холодный, металлический, голодный.

— Стой! — крикнула Тумбочка, но её голос сорвался. Она не знала, кричит она или шепчет. Она покатила за ним, но её колёсики заскрипели, застучали по камням, и старый стул-проводник, лежавший у стены в стазисе, вдруг дёрнул своей единственной уцелевшей ножкой.

Скрип.

Короткий, резкий, как выстрел. Как предупреждение. Как крик «Опасность!» на языке, который не нуждается в словах.

Корвин проснулся мгновенно. Его глаза открылись, рука сжала меч, он вскочил — старый, уставший, но готовый к бою.

— Что? — спросил он. — Они идут?

— Нет, — ответила Тумбочка. — Пушок. Он... он ушёл. В туннель.

Линк вскочил, забыв о перевязанной руке. Его лук оказался в руке раньше, чем он успел подумать.

— Как ушёл? Куда?

— Туда, — Тумбочка указала петлёй в темноту. — К Пылесосам.

Корвин бросился к выходу, но остановился у края туннеля. Он взгляделся в темноту — серую, плотную, почти осязаемую. Он не увидел ничего. Только тьму. И гул. Гул, который стал громче.

— Он не вернётся, — сказал Корвин. Его голос был низким, тяжёлым, как похоронный звон. — Там уже Пылесосы. Я слышу их. Разведчики. Малые. Они прощупывают путь. Если он наткнётся на них...

— Я пойду, — сказал Линк, натягивая тетиву. — Я найду его.

— Нет, — Корвин положил руку ему на плечо. — Ты не пройдёшь. Твоя рана открылась, ты еле стоишь. Ты умрёшь

через сто метров.

— Я всё равно пойду, — сказал Линк. Его глаза горели.
— Он же ребёнок. Мы не можем оставить его одного.

— Он не ребёнок, — сказала Метла-Ветров. Она стояла у стены, её щетина дрожала. — Не в том смысле. Он... он почувствовал их раньше нас. Он знал, куда идти. Он выбрал это сам. Не мы за ним — он за нами.

Тумбочка смотрела в темноту туннеля, и её петли скрипели — тихо, жалобно, как прощание, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

— Она права, — сказала она. — Мы не можем его догнать. Мы можем только ждать. И надеяться.

Она не сказала, что надежды почти не осталось. Не сказала, что в её среднем ящике броня Дивана кончилась и она не сможет защитить даже себя, не то что Пушка в глубине туннеля. Не сказала, что боится. Она просто закрыла верхний ящик и стала ждать.

Часть 3. Там, где даже пыль молчит

Туннель был огромен.

Пушок никогда не уходил так далеко от Гнезда. Максимум — до выхода в Центральный зал, где стояла Метла и пахло старым деревом и пылью. Здесь было по-другому. Здесь воздух был холодным, тяжёлым, почти жидким. Он давил на его маленькое тело, сжимал его, пытался остановить. Пол был неровным, покрытым слоем мелкой, острой стеклянной крошки, которая впивалась в его пыль, оставляя тонкие, почти незаметные царапины.

Он не останавливался.

Он катился вперёд, повинаясь не разуму — пульсу. Там, в глубине, пульсировало нечто. Не холодное — горячее. Бесловое. Ослепительное. Память о том, что когда-то было живым, а потом стало стёртым. Он не знал, что это. Но он чувствовал: если он доберётся туда, он сможет понять, как остановить холодных.

Туннель расширился. Стены расступились, потолок поднялся так высоко, что терялся в темноте. Пушок оказался в круглом, огромном зале — таком же, как Зал Павших Диванов, но меньше. И пустее.

Здесь не было диванов. Не было постаментов. Не было ничего. Только пол, стены и — в центре — три тени.

Не Пылесосы. Другие. Меньше. Темнее. Они не гудели — они молчали. Их корпуса были гладкими, блестящими, без единой царапины. Шланги не извивались — они висели, как плети, как руки палача, который отдыхает перед казнью. Это были разведчики. Первая линия. Те, кто искал аномалии и сообщал о них основным силам.

Они заметили его сразу.

Пушок замер. Его пульс участился, стал рваным, тревожным. Он боялся. Боялся так, как никогда не боялся — даже когда родился, даже когда впервые принял форму, даже когда Тумбочка уходила на битву и говорила «я вернусь».

Но он не отступил.

Маленький, золотистый комок лежал в центре зала, окружённый тремя холодными механизмами, и его пульсация была похожа на крик. Надежды. Отчаяния. Жизни.

Первый Пылесос наклонил корпус, его смотровое окно — тусклое, мутное — уставилось на Пушка. Программа сканировала: «Аномалия? Неаномалия? Баг? Жизнь?»

Он не мог классифицировать. Потому что Пушок не был

похож на код. Он не пах системой. Он пах рождением. Тем, чего не было в их базе данных. Тем, для чего у них не было команды «уничтожить».

Пылесос завис на секунду. Этого было достаточно.

Пушок не стал ждать.

Он развернулся и... изменился.

Не так, как раньше. Раньше он принимал форму ковра — неправильного, асимметричного, похожего на отца. Или форму капли — маленькой, круглой, удобной для движения. Сейчас он сделал то, чего не делал никогда.

Он стал плоским. Идеально плоским.

Его пыль текла в разные стороны, растягиваясь, утончаясь, превращаясь из комка в прямоугольник. Не неправильный, не асимметричный — правильный. Геометрически точный. У него были углы — острые, чёткие, как лезвия. У него была поверхность — гладкая, блестящая, как стекло. У него было отражение.

Он стал зеркалом.

Маленьким, крошечным, размером с ладонь игрока, с кулак ребёнка, с сердце старой, уставшей тумбочки. Но — зеркалом.

Первый Пылесос увидел в этом зеркале себя.

Своё отражение.

И его программа сломалась.

Часть 4. Отражение, которое жгло

Он не знал, как это работает. Он не учился этому. Он просто вспомнил.

Не умом — пылью.

Тумбочка открывала свой средний ящик у Стеклоанной Горки. Тумбочка показывала зеркало Короллю Пылесосов. Тумбочка говорила: «Пусть увидят себя. Настоящих. Смертных. Испуганных».

Пушок не понимал слов. Но он понимал вибрацию. Он чувствовал, как работали зеркала — как они путали холодных, как они заставляли их сомневаться, как они ломали их программу. И он понял: он может сделать то же самое.

Он может стать зеркалом.

Первый Пылесос замер. Его шланги дёрнулись, корпус заужжал — не угрожающе, а вопросительно. Он видел в отражении Пушка не Пушка — он видел себя. Свою цель. Свою программу. Свой приказ.

«Обнаружить аномалию. Удалить».

Но аномалией был он сам. Отражение не лгало. Оно показывало правду: Пылесос был такой же аномалией, как и всё, что он должен был стирать. Он был создан, чтобы чистить. Но его создали для мира, который больше не существовал. Для системы, которая спала. Для приказов, которые никто не отдавал.

Он не выдержал.

Его корпус треснул. Негромко, сухо, как ломается сухая ветка под ногой, как надежда, которая не выдерживает тяжести. Из трещины вырвалась анти-пыль — но не наружу, внутрь. Он выстрелил в себя.

И исчез.

Не рассыпался, не сломался — исчез. Как те стулья, которых стирали Пылесосы в прошлый раз. Без крика. Без следа. Без памяти.

Второй Пылесос, видевший гибель первого, на секунду замер. Потом его программа перестроилась: «Аномалия опасна. Атаковать с дистанции. Не смотреть в отражение».

Он поднял шланги и выстрелил.

Струя анти-пыли ударила в Пушка — в его маленькое, идеально ровное зеркальное тело — и... отскочила. Как вода от масла, как свет от тьмы, как жизнь от смерти. Она ударила в стену за ним, и стена стала гладкой, блестящей, мёртвой.

Пушок не исчез.

Но его края обожгло. Анти-пыль, даже отражённая, была горячей. Она спекла его пыль, сделала её хрупкой, почти прозрачной. Он стал меньше. Тусклее. Но он держался.

Он не знал, что такое боль. Не знал, что такое страх. Не знал, что такое смерть. Но он знал: если он упадёт сейчас — холодные пойдут дальше. К матери. К отцу. К Тумбочке. Ко всем, кто тёплый. И тогда не останется никого, кто мог бы отражать.

Он покатился вперёд.

Прямо на второго Пылесоса.

Маленький, обожжённый, почти прозрачный, но всё ещё зеркальный. Он катился, и его отражение росло в глазах Пылесоса, заполняло его смотровое окно, ломало его программу, стирало его приказы.

Второй Пылесос выстрелил снова. И снова. И снова. Анти-пыль ударяла в Пушка, отражалась, била в стены, в пол, в потолок. Камень исчезал, превращаясь в гладкую, блестящую пустоту. Воздух становился тяжёлым, почти жидким.

Пушок катился.

Он был уже почти у цели — у корпуса второго Пылесоса, когда тот выпустил последний, самый мощный заряд. Анти-пыль ударила в центр его зеркальной поверхности, и Пушок не выдержал.

Он треснул.

Не рассыпался — треснул. По его телу пошла тонкая, почти незаметная паутина трещин, из которых сочилась не пыль — свет. Золотистый, тёплый, почти живой. Свет, который помнил мать. Свет, который помнил отца. Свет, который помнил Тумбочку, и Метлу, и Корвина, и Линка, и старый стул, и вешалку, и всех, кто был тёплым.

Он упал.

Но не исчез.

Он лежал на полу, маленький, треснутый, почти мёртвый, и его пульсация была слабой, едва различимой, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Второй Пылесос наклонился над ним, готовясь добить.

И в этот момент третий Пылесос, который до этого стоял неподвижно, наблюдая, вдруг зажужжал. Его программа, перегруженная противоречивыми приказами, не выдержала. Он начал стрелять хаотично, без системы, без цели. В стены, в пол, в потолок. В своего товарища.

Струя анти-пыли ударила во второго Пылесоса, и тот исчез. Так же, как первый. Без крика. Без следа.

Третий, обезумев, продолжал стрелять, пока его корпус не перегрелся и не взорвался изнутри. Осколки металла разлетелись по залу, звеня, как колокольчики, как прощание, как надежда.

Пушок лежал в центре этого хаоса, маленький, обожжённый, треснутый, но живой.

Гул внизу стих.

Передовая цепь была уничтожена. Программа требовала перегруппировки. Основные силы замерли, ожидая новых приказов.

Он выиграл им час.

Часть 5. Гул, который стих

В Гнезде было тихо.

Слишком тихо.

Тумбочка стояла у входа, её петли слушали. Гул, который до этого был ровным, угрожающим, почти гипнотическим, вдруг изменился. Он стал прерывистым, хаотичным, а потом — стих.

Не исчез — стих. Как будто кто-то нажал паузу. Как будто время остановилось.

— Что случилось? — спросил Линк, сжимая лук. Его руки дрожали. — Почему они замолчали?

— Не знаю, — ответил Корвин. — Может быть, засада. Может быть, они перестраиваются. Может быть...

— Может быть, Пушок, — сказала Метла-Ветров.

Она стояла у стены, её щетина была выдрана, древко треснуто, но она слушала. Слушала так, как не слушал никто. И в этой тишине, в её глубине, она услышала нечто, чего не

слышала раньше.

Не гул. Не скрип. Не звон.

Пульс.

Слабый, едва различимый, но ровный. Живой.

— Он жив, — прошептала Метла. — Я слышу его. Он... он возвращается.

Тумбочка не ждала. Она покатилась в туннель, забыв о боли, забыв об усталости, забыв о том, что её средний ящик пуст, а броня Дивана кончилась. Она катилась быстро, как не катилась много лет, с тех пор как гналась за Рувимом по кухне таверны «Кривой Пёс».

Корвин и Линк бежали за ней, их факелы (остатки старых, обгоревших палок) отбрасывали дрожащие тени на стены, и тени эти были похожи на призраков, на надежду, на отчаяние.

Они нашли его в нижнем зале, среди обломков трёх Пылесосов. Зал был изуродован — стены стали гладкими, пол — блестящим, как лёд, в воздухе пахло озоном, гарью и чем-то ещё — чем-то, чего нельзя было назвать. Может быть, жерт-

вой. Может быть, любовью. Может быть, просто тишиной.

Пушок лежал в центре.

Маленький, обожжённый по краям, с тонкой паутиной трещин на поверхности, он напоминал старый, разбитый кристалл, который забыли на пыльной полке. Его пульсация была слабой, едва различимой, но она была. Он дышал. Он жил.

Тумбочка подкатилась к нему, открыла нижний ящик — тот, где он спал обычно, — и прошептала:

— Возвращайся домой. Ты сделал всё, что мог.

Пушок не ответил. Не мог. Но его тело чуть-чуть дрогнуло, и он вкатился в ящик — медленно, тяжело, как победа в маленькой войне.

Тумбочка закрыла ящик. Её петли скрипнули — тихо, устало, почти счастливо.

— Он жив, — сказала она. — Но он почти не светится. Края спеклись, трещины... трещины глубокие. Ему нужно время. И тишина.

Корвин опустился на колено, положил руку на ящик Тумбочки — тяжелую, старую, в перчатке, которая помнила тысячу битв.

— Он купил нам время, — сказал он. — Час. Может быть, два. Малыш купил нам час.

Линк смотрел на обломки Пылесосов, на гладкие, блестящие стены, на следы анти-пыли, и не верил. Он видел смерть. Он видел, как исчезают стулья. Он видел, как горит мебель. Но он никогда не видел, чтобы такой маленький, такой слабый, такой... живой... смог остановить то, что не могли остановить они.

— Он отражал, — сказал Линк. — Как зеркало. Как те плиты у Горки. Он отражал их атаки. Откуда он это узнал?

— Он видел, — ответила Метла-Ветров. — Не умом — пылью. Он запомнил, как Тумбочка открывала ящик у Горки. И он повторил. Не скопировал — повторил. Сделал по-своему.

Она подкатилась к Тумбочке, коснулась щетиной её нижнего ящика — того, где лежал Пушок, — и замерла.

— Он не только отражал, — сказала она. — Он... он слы-

шал их. Перед тем как ударить. Он слышал их программу. Он знал, что они боятся. Не смерти — себя. Своих отражений. Своей правды.

Корвин поднялся. Его меч дрожал в руке, но он не опустил его.

— Возвращаемся в Гнездо, — сказал он. — Нужно подготовиться к следующей волне. Они вернутся. Не сегодня, может быть, не завтра, но вернутся. И в следующий раз их будет не три — тысячи. Но сегодня... сегодня мы выиграли. Благодаря ему.

Он кивнул на ящик Тумбочки.

Они пошли обратно. Медленно. Шаг за шагом, скрип за скрипом, надежда за надеждой.

Часть 6. Клятва над обломками

Они вернулись в Гнездо через час. Ночь уже опустилась на Город Игроков, и в Гнезде было темно. Светились только Слеза Стеклянного Полумесяца (тускло, едва заметно) и маленькое пятнышко на правом краю Рувима — пыль жизни, которая никак не могла погаснуть.

Тумбочка поставила нижний ящик на подстилку из старых тряпок, рядом с Эллой. Открыла его — чуть-чуть, на миллиметр, чтобы Пушок мог дышать. Он лежал внутри, маленький, золотистый, треснутый, и его пульсация была медленной, ровной, почти медитативной. Он спал. Ему нужно было спать. Детям нужно спать, даже когда мир вокруг рушится. Даже когда мать умирает. Даже когда отец лежит рядом, без памяти, без левого края, с прочностью 0,00009%.

Элла лежала на подстилке из старых тряпок, её древко пульсировало слабо, едва заметно. Она не знала, что Пушок уходил в туннель. Не знала, что он сражался с Пылесосами. Не знала, что он почти погиб. Но когда Тумбочка поставила ящик рядом с ней, древко чуть-чуть дрогнуло.

Вибрация.

Короткая, слабая, почти неразличимая. Похожая на шорох сухой листвы под ногами, на первый шаг по снегу, на надежду, которая учится говорить. Она не была словом — она была ощущением. Теплом. Благодарностью. Любовью.

Пушок, спавший в ящике, чуть-чуть засветился в ответ. Не ярко — тускло, почти незаметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся. Он услышал. Он понял. И, может быть, улыбнулся во сне — если коврики могут улыбаться.

Метла-Ветров подкатилась к Тумбочке, опустила своё треснутое древко так низко, что щетина коснулась пола.

— Он не должен был идти один, — сказала она. — Это наш стыд. Мы, взрослые, старые, битые жизнью, — мы не смогли защитить ребёнка. Ребёнок защитил нас.

— Не стыд, — ответил Корвин. — Урок. Он показал нам, как умирают трусы. Он отражал, пока они стреляли в себя. Он не бежал — он стоял. И если он, маленький, треснутый, почти рассыпающийся, смог сделать это — значит, и мы можем. Не бежать. Не прятаться. Стоять.

Он поднял меч. Не для атаки — для клятвы.

— Я, Корвин, паладин, клянусь: больше ни один ребёнок не пойдёт в бой вместо меня. Я буду стоять первым. Я буду принимать удары. Я буду щитом. Даже если броня Дивана кончилась. Даже если магия умерла. Даже если надежды нет.

Он воткнул меч в землю перед ящиком Пушки. Жест, означающий «я здесь. я не уйду. я буду защищать».

Линк шагнул вперёд. Его перевязанная рука дрожала, но он положил лук на землю рядом с мечом Корвина.

— Я, Линк, лучник, клянусь: я больше не буду убивать из страха. Только из защиты. Я не подниму лук на того, кто слабее. Я буду стрелять только тогда, когда стрелять необходимо. И я буду помнить, что каждый стул, каждая кровать, каждая вешалка — живые. Как он.

Он кивнул на ящик.

Метла-Ветров не стала клясться. Она уже давно дала свою клятву — в тот день, когда впервые коснулась щетиной пола в Логове и сказала: «Я буду чистить. Не для игроков — для жизни». Но она подкатилась к ящику Пушки и коснулась его своей самой длинной, уцелевшей щетинкой.

— Ты не один, — прошептала она. — Мы все здесь. Даже

те, кто стоит в углу. Даже те, кого не замечают. Даже те, кто чистит полы после битв. Мы — твоя семья. И мы не дадим тебя в обиду.

Тумбочка смотрела на всё это, и её петли скрипели — тихо, устало, почти счастливо. Она не клялась. Она не могла. Она уже отдала всё. Гвозди Гролла. Пыль гномов. Лоскуты тряпок. Осколки кристаллов. Обломки Веника. Броню Дивана. Всё, что хранила. Всё, что помнила. Всё, что любила.

У неё остался только Пушок. И надежда. И тишина.

Она открыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый — и достала оттуда гвоздь Гролла. Ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Тот самый гвоздь, которым Гролл прибил Рувима к полу в первый день. Тот самый, который она хранила как напоминание: боль, которую мы переживаем, может стать клятвой.

Она положила его на ящик Пушка. Не внутрь — сверху. Как талисман. Как память. Как обещание.

— Этот гвоздь помнит первую боль, — сказала она. — Пусть он помнит и первый подвиг. Маленький коврик, который не испугался. Который пошёл туда, куда не пошли мы.

Который стал зеркалом. Который отражал, пока не треснул. Ты — герой, Пушок. Не потому, что ты сильный. Потому что ты — живой. По-настоящему. Без кода. Без системы. Просто — живой.

Она замолчала.

В тишине было слышно, как где-то в глубине Логова стоят раненные кровати, как звенят сломанные вешалки, как плачет (если вешалки могут плакать) та самая вешалка, которая лежала в коме у стены. Но в Гнезде была только тишина. И пульс. И надежда.

Элла дрогнула снова. Сильнее, чем в прошлый раз. Её древко, покрытое сеткой глубоких трещин, чуть-чуть наклонилось в сторону ящика Пушка. Жест, означающий «я люблю тебя. я горжусь тобой. я буду жить ради тебя».

Тумбочка смотрела на это, и её петли не скрипели. Она не знала, сможет ли Элла проснуться. Не знала, сможет ли Рувим открыть глаза. Не знала, сколько у них осталось времени. Но она знала одно: сегодня Пушок спас их всех. Не силой. Не хитростью. Не отчаянием. Просто — желанием быть рядом. Просто — любовью.

И этого было достаточно.

Часть 7. Тени, которые отступили на шаг

Тумбочка выкатилась из Гнезда, когда ночь была в самом разгаре. Небо над Логовом было чёрным, беззвёздным, низким. Оно давило, как крышка гроба, как саван, как конец.

Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Они не ушли. Пылесосы, сотни Пылесосов, замерли у их ног, как послушные звери, как инструменты, которые ждут команды. Тени смотрели на Логово. На игроков. На мебель. На Рувима. На Эллу. На Пушка. На Тумбочку.

Центральная Тень — самая высокая, с кристаллом, пульсирующим ярче других, — чуть-чуть наклонила голову. Тумбочка видела этот жест сотни раз. Он означал одно: «Мы ждём. Мы готовы. Мы выберем момент».

Но сегодня, впервые за много дней, другая Тень — левая, та, что стояла чуть позади и никогда не двигалась — сделала шаг.

Назад.

Один шаг. Не вперёд — назад. Как будто она увидела то, чего не ожидала. Как будто она испугалась. Как будто маленький, треснутый коврик в ящике старой тумбочки заставил её усомниться.

Пылесосы у её ног взволнованно зажужжали. Их корпуса завибрировали, шланги зашевелились. Они не понимали, почему командир отступает. Почему программа, которая всегда была такой чёткой, такой беспощадной, вдруг дала сбой.

Центральная Тень повернулась к левой. Между ними проскочила вибрация — беззвучная, невидимая, но Тумбочка почувствовала её. Спор. Сомнение. Страх.

Потом центральная Тень подняла руку. Жест, означающий «ждите. не сейчас. мы не готовы».

Левая Тень опустила голову (если у тени есть голова) и замерла.

Они не ушли. Но они отступили.

Тумбочка смотрела на это, и её петли скрипели — тихо, тревожно, как вопрос, на который никто не знает ответа. Она не знала, надолго ли это. Не знала, вернутся ли они. Не знала,

сколько у них осталось времени.

Но она знала одно: сегодня они выиграли. Не битву — ночь. А ночь — это время. Время, чтобы отдохнуть. Время, чтобы залечить раны. Время, чтобы надеяться.

Она закрыла верхний ящик — не до конца, оставила щель, чтобы слышать. Чтобы предупреждать. Чтобы помнить.

И покатила обратно в Гнездо.

Часть 8. Тишина перед рассветом

Она остановилась у входа, посмотрела на Эллу, на Рувима, на Пушка. Маленький коврик лежал в нижнем ящике, его пульсация была ровной, спокойной, почти счастливой. Трещины на его теле не зажили — они остались, как шрамы, как память, как напоминание. Но он не исчез. Он жил.

Тумбочка подкатилась к нему, открыла ящик — полностью, в первый раз за ночь — и прошептала:

— Спи. Ты заслужил. Завтра будет новый день. Не знаю, хороший или последний. Но новый. И мы встретим его вместе.

Она закрыла ящик. Её петли скрипнули в последний раз — тихо, устало, почти счастливо.

Она откатилась к стене, где лежали обломки фаервола, где когда-то стоял Редактор Памяти, где сейчас не было ничего, кроме пыли и пепла. Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Но они не двигались. И в их неподвижности, в их молчании, в их терпении было нечто, чего Тумбочка не видела раньше.

Не угроза.

Ожидание. И вопрос.

Война не кончилась. Мир не наступил. Наступило затишье.

Но затишье — это не конец. Это — начало.

Начало конца. Или начало начала.

Она не знала. Она знала только одно: сегодня Пушок стал героем. Маленьким, треснутым, почти рассыпавшимся, но героем. И пока такие, как он, есть — у этого мира есть будущее.

— —

Итоговое состояние на конец главы 1:

Персонаж Состояние

Пушок Герой главы. Сильно повреждён (края спеклись, трещины по телу), но жив и в сознании. Впервые использовал форму идеального зеркала как оружие. Отразил несколько атак анти-пылью. Купил защитникам час времени. Спо-

способность к отражению — новое качество.

Тумбочка В шоке от поступка Пушка. Броня Дивана на нуле, средний ящик пуст. Морально укреплена, но физически истощена. Положила гвоздь Гролла на ящик Пушка как символ памяти и клятвы.

Корвин / Линк / Метла Переоценивают Пушка. Принесли клятву у его ящика (Корвин — мечом, Линк — луком, Метла — щетиной). Готовятся к тактической обороне у входа.

Элла Дала слабый, но осознанный отклик (вибрация «спасибо» и «я горжусь»). Древко наклонилось в сторону Пушка — первый осознанный жест за много дней.

Рувим Без изменений (прочность 0,00009%, одно пятнышко пыли жизни). Пятнышко чуть ярче после возвращения Пушка — возможно, телесный отклик на сына.

Пылесосы Передовой отряд из трёх разведчиков уничтожен. Основные силы замерли в ожидании новых приказов. Программа дала сбой из-за невозможности классифицировать Пушка как «живое без кода».

Тени Зафиксировали аномалию (живое зеркало). Левая Тень сделала шаг назад — первый случай отступления за всё время. Центральная Тень подала сигнал «ждите».

Время Куплен один час (возможно, два) до следующей атаки основных сил Пылесосов.

Ключевая тема главы: Героизм не в силе, а в чистоте намерений. Пушок не понимал, что такое смерть, и потому не

боялся её. Его жертва стала зеркалом, в котором враг увидел себя — и испугался.

Глава 2. ГГ в ярости

Часть 1. Гвоздь, который упал

Тишина в Гнезде была не той, которая лечит. Она была той, которая ждёт. Тяжёлая, вязкая, пропитанная запахом спекшейся пыли — тем самым сладковатым, приторным запахом, который остаётся после того, как живое дерево превращается в мёртвый пепел. Он висел в воздухе, вьелся в старые, обгоревшие тряпки подстилки, забился в трещины стен, и Тумбочка чувствовала его каждой своей петлёй, каждой щепкой, каждой пустой полкой.

Она стояла у входа в Гнездо, маленькая, старая, почти пустая, и не могла заставить себя открыть нижний ящик.

Прошло всего несколько минут с тех пор, как они вернулись из нижнего зала. Несколько минут, как Линк, шатаясь от потери крови, опустил обгоревшего Пушка на подстилку. Несколько минут, как Корвин, чьи руки дрожали так сильно, что он не мог застегнуть пояс с мечом, приказал всем замолчать и слушать тишину. Несколько минут, как Метла-Ветров, её щетина выдрана, а древко треснуто, замерла у стены, вслушиваясь в гул, который стих, но не исчез.

Пушок лежал в ящике. Она не закрывала его. Не могла. Крышка нижнего ящика была откинута, и оттуда, из темно-

ты, где когда-то спал маленький золотистый коврик, доносились только одно — слабый, неровный, почти неразличимый пульс. Он был похож на сердцебиение пойманной птицы, которая бьётся в силках, но уже не надеется вырваться. Он был живым. Но он был таким слабым, что даже Тумбочка, чьи петли могли уловить шорох паутины на ветру, с трудом различала удары.

Пушок не был похож на себя. Трещины, тонкие, как паутина, покрывали его золотистое тело, превращая его из маленького, пушистого прямоугольника в разбитый кристалл. Края спеклись, оплавилась, стали стеклянными и острыми — такими, какими они были у зеркал в Стеклянной Горке. Он не двигался. Он не пульсировал ровно, как раньше. Он просто лежал и ждал. Не смерти — покоя.

Рядом, на подстилке из старых тряпок, лежала Элла. Её древко, покрытое сеткой глубоких трещин, пульсировало слабо, едва заметно. Слеза Стеклянного Полумесяца, лежавшая рядом, почти погасла — она светила тусклым, золотисто-серым светом, как умирающая свеча перед тем, как навсегда погрузить комнату во тьму. Слеза держала Эллу на грани уже много дней. Не давала умереть, но и не позволяла проснуться. Но её силы кончались. Тумбочка знала: ещё немного — и Слеза погаснет. И тогда Элла умрёт. Не сразу, но умрёт. И вместе с ней — надежда на то, что Рувим ко-

гда-нибудь откроет глаза.

Рувим лежал с другой стороны. Неподвижный. Почти мёртвый. Его правый край — единственное, что осталось от когда-то огромного, пушистого тела, — был повреждён на девяносто девять с половиной процентов. Нити торчали в разные стороны, как сломанные прутья, как пальцы утопленника, как вопросы, на которые никто никогда не ответит. Левого края не было вовсе. Не обгорел, не истлел, не рассыпался — именно исчез. Как будто его никогда не существовало. Как будто тридцать лет боли, потерь и надежды были просто сном, который забывают через секунду после пробуждения. Только одно маленькое пятнышко в самом центре правого края — там, где когда-то был гвоздь Гролла, — ещё сохраняло слабое золотистое свечение. Пыль жизни. Крошечный остров в море умирающей памяти.

Тумбочка перевела взгляд с Пушка на Рувима, с Рувима на Эллу, с Эллы снова на Пушка. Она не знала, что делать. Она была хранительницей. Она умела хранить. Но она не умела лечить. Не умела воскрешать. Не умела возвращать надежду, когда она умерла.

— Открой ящик, — сказал Корвин. Он стоял у входа, его меч был воткнут в землю между ног, руки лежали на эфесе. Он не спал уже третьи сутки, но его голос был твёрдым, как

сталь. — Он должен дышать.

— Он не дышит, — ответила Тумбочка. Её голос был резким, скрежещущим, как металл по стеклу, но в нём не было обычной колкости. Была только усталость. И страх. — Он... он застыл. Я чувствую. Он отдал почти всю пыль, чтобы отразить последний удар. Если я открою ящик — он может рассыпаться. Ветром. Движением. Скрипом.

— Он уже рассыпается, — сказала Метла-Ветров. Она подкатилась ближе, её щетина, выдранная в нескольких местах, дрожала. — Не телом — пылью. Я чувствую. Его пульс становится реже. Если мы ничего не сделаем — он остановится через час. Может быть, через два.

Тумбочка молчала. Её петли не скрипели. Она смотрела на Пушка, на его спекшиеся края, на паутину трещин, и в её пустых, старых ящиках что-то обрывалось. Она не могла потерять его. Не после всего. Не после того, как он пошёл в туннель один. Не после того, как он отражал атаки, пока не треснул. Не после того, как он спас их всех.

Линк, сидевший у стены, поднялся. Его перевязанная рука была мокрой от крови, лицо бледным, как мел, но он подошёл к ящику и опустил на колено.

— Он маленький, — сказал Линк. — Но он сильнее нас всех. Он не умер там. Не умрёт и здесь. Открой ящик, Тумбочка. Пусть он видит свет. Даже если это последнее, что он увидит.

Тумбочка закрыла глаза (если у тумбочки есть глаза). Она вспомнила, как Пушок впервые выкатился из древка Эллы — маленький, золотистый, пульсирующий. Как он впервые принял форму — неправильную, асимметричную, но свою. Как он впервые коснулся Рувима. Как он впервые сказал «я». И как он ушёл в туннель — один, без оружия, без защиты, без страха.

Она открыла глаза. Протянула петлю к ящику. И открыла его.

Полностью.

Нижний ящик, самый глубокий, самый тёмный, самый пустой, раскрылся, и из него пахнуло — не пылью, не гарью, не кровью. Тишиной. Той самой, которая рождается, когда надежда умирает, но не хочет сдаваться.

Пушок лежал на дне. Маленький, золотистый, треснутый. Его края были оплавлены, поверхность покрыта паутиной тонких, почти незаметных трещин, из которых сочился не

свет — память. Тёплая, золотистая, почти живая. Он не двигался. Не пульсировал. Он просто лежал.

И в этот момент, в этой тишине, когда Тумбочка уже почти смирилась с тем, что Пушок уходит, — гвоздь Гролла, лежавший на крышке ящика, вдруг дрогнул.

Тумбочка замерла.

Гвоздь был ржавым, старым, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Он лежал на ящике как талисман, как память, как обещание. Он не двигался уже много дней — с тех пор, как Тумбочка положила его туда после возвращения из Стеклоанной Горки. И сейчас, когда Пушок лежал на дне ящика, когда его пульс почти замер, когда надежда почти иссякла, — гвоздь снова засветился.

Не золотистым, как пыль жизни. Не серым, как код. Цветом, которого не было в палитре системы. Цветом, который помнил времена, когда гномы ещё ходили по этим туннелям. Цветом надежды, которая не сдаётся даже после смерти.

А потом гвоздь упал.

Не соскользнул — упал. С глухим, тяжёлым стуком, кото-

рый прокатился по Гнезду, как удар колокола, как предупреждение, как приговор. Он упал на каменный пол, покатился к Рувиму и остановился у самого края его правого, повреждённого бока.

Тумбочка смотрела на это, и её петли скрипнули — негромко, тревожно. Она не понимала, что происходит. Но она чувствовала: что-то изменилось.

Воздух в Гнезде стал другим. Тяжёлым. Плотным. Почти живым. Он пах уже не спекшейся пылью — он пах озоном. И железом. И чем-то ещё — чем-то, чего нельзя было назвать. Может быть, яростью.

Часть 2. Дрожь, которая не подчиняется

Линк почувствовал это первым. Он сидел у стены, сжимая лук в здоровой руке, и вдруг его пальцы разжались сами собой. Лук упал на пол с глухим стуком, и Линк уставился на свои руки, не понимая, что произошло. Они дрожали. Не от слабости, не от страха — от чего-то другого. От вибрации, которая шла снизу, из-под земли, но не от Пылесосов. Она шла из Гнезда. От Рувима.

Корвин поднял голову. Его рука, лежавшая на эфесе меча, сжалась так сильно, что костяшки пальцев побелели. Он не сказал ничего. Он просто смотрел на ковра.

Рувим не двигался. Его правый край был неподвижен, нити не шевелились, левого края не было вовсе. Только одно маленькое пятнышко в центре правого края — там, где когда-то был гвоздь Гролла, — пульсировало. Но теперь эта пульсация была другой. Не ровной, не спокойной — хаотичной. Сбивчивой. Злой.

Пыль жизни, которую Тумбочка считала почти угасшей, вдруг засветилась ярче. Не золотистым — красноватым.

Цветом старой, запёкшейся крови. Цветом гвоздя Гролла в тот день, когда он впервые вонзился в дерево Рувима. Цветом первой боли.

Метла-Ветров отшатнулась. Её щетина, и без того выдранная в нескольких местах, встала дыбом — не от страха, от изумления.

— Он чувствует, — прошептала она. — Он чувствует Пушка. Не умом — телом. Он чувствует его боль. Его страх. Его...

Она не договорила. Не потому, что не знала слов. Потому что слова застряли в горле.

Правый край Рувима дрогнул.

Не рефлексивно, как раньше, когда он дёргался во сне, когда ему снилась Элла. Осознанно. Медленно, тяжело, почти невероятно. Он приподнялся на миллиметр. На два. На три. Нити, которые торчали мёртвыми, вдруг зашевелились, как спящие змеи, которых разбудили. Они не были живыми — они были движимыми. Чем-то древним, что было глубже кода. Глубже пыли. Глубже жизни.

Инстинктом.

Тем самым, который заставил его приподнять угол, когда Элла впервые коснулась его тряпкой. Который заставил его убить первого игрока. Который заставил его полюбить швабру. Который заставил его нажать красную кнопку. Который заставил его впитать её частицу. Который заставил его держаться за неё даже тогда, когда не осталось ни памяти, ни надежды.

Тот же самый инстинкт сейчас говорил ему: «Твой сын умирает. Враг рядом. Встань. Иди. Убей».

Рувим не слышал этих слов. Он не мог их слышать. У него не было ушей. Но его пыль слышала. Его нити слышали. Его тело, сломанное, почти мёртвое, забывшее всё, что можно забыть, — слышало.

Он начал двигаться.

Не ползти — течь. Его правый край, повреждённый на девяносто девять с половиной процентов, истончённый, почти прозрачный, расправился. Он скользнул по подстилке из старых тряпок, оставляя за собой тонкий, золотистый след — пыль жизни, которую он терял с каждым сантиметром. Он обвился вокруг древка Эллы — нежно, как в последний раз, — и оторвался. Оттолкнулся. И покатился.

Тумбочка замерла.

Она видела, как Рувим покидает Гнездо. Как он скользит к выходу, минуя её, минуя Корвина, минуя Линка. Как его правый край, единственное, что у него осталось, становится тоньше, прозрачнее, почти невидимым. Как пыль жизни, которую он отдаёт каждым движением, рассеивается в воздухе, как утренний туман, который исчезает с первыми лучами солнца. Она хотела остановить его. Хотела крикнуть: «Ты умрёшь! Ты не помнишь ничего! Ты даже не знаешь, куда идёшь!»

Но она не крикнула. Потому что знала: он не слушает. Он не слышит. Он — не здесь. Он там, где Пушок. Где боль. Где враг.

— Пусть идёт, — сказал Корвин. Его голос был низким, тяжёлым, как похоронный звон, но в нём не было страха. Было только принятие. — Мы не можем его остановить. Мы можем только ждать. И надеяться.

— На что? — спросил Линк. Его перевязанная рука дрожала, лук лежал на полу, и он даже не пытался его поднять. — Он почти мёртв. Он рассыплется через десять метров.

— На то, что он успеет, — ответил Корвин. — На то, что его хватит. На то, что он — не просто ковёр. Он — отец.

Метла-Ветров смотрела на выход из Гнезда, где только что исчез Рувим, и её щетина дрожала.

— Я чистила туннели много лет, — сказала она. — Я видела, как умирает мебель. Как горит дерево. Как ломаются пружины. Но я никогда не видела, чтобы мёртвое двигалось. Чтобы почти рассыпавшееся — шло. Он идёт не за жизнью. Он идёт за смертью. За их смертью.

Часть 3. След на холодном камне

Туннель встретил Рувима холодом.

Тем самым, который он чувствовал, когда лежал в таверне «Кривой Пёс», прибитый гвоздями, забытый всеми. Тем самым, который вьелся в его нити, когда игроки вытирали об него ноги. Тем самым, который стал его единственным воспоминанием после того, как Редактор Памяти стёр всё остальное.

Он не помнил, как называется этот туннель. Не помнил, куда он ведёт. Не помнил, зачем он здесь. Но его тело помнило запах Пылесосов — металлический, острый, голодный. И оно помнило запах Пушки — сладковатый, как спекшаяся пыль, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Он двигался медленно. Каждый сантиметр давался с трудом, как победа в маленькой войне. Его правый край, истончённый, почти прозрачный, скользил по холодному камню, оставляя за собой тонкий, золотистый след. Пыль жизни, которую он терял. По капле. По нити. По памяти.

Система, которая молчала много дней, проснулась на секунду. Холодный, бесстрастный шрифт высветился перед

его несуществующими глазами:

«ПРОЧНОСТЬ: 0,00008%. ПЫЛЬ ЖИЗНИ: 0,00001 ЕД.
СТАТУС: КРИТИЧЕСКИЙ. ПРОГНОЗ: НЕОПРЕДЕЛИМ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ».

Он не обратил внимания. Он не умел читать. Он умел только двигаться. Вперёд. К запаху. К боли. К сыну.

Туннель расширился. Стены расступились, потолок поднялся так высоко, что терялся в темноте. Рувим оказался в круглом, огромном зале — таком же, как Зал Павших Диванов, но меньше. И пустее.

Здесь не было диванов. Не было постаментов. Не было ничего. Только пол, стены и — в центре — они.

Пылесосы.

Их было около двадцати. Не старых, ржавых, полусломанных, которые нападали на Логово в прошлый раз. Других. Новых. Блестящих. Их корпуса блестели чёрным маслом, шланги извивались, как змеи, смотровые окна светились холодным, синим светом. Они не жужжали — они молчали. Тишина была страшнее любого звука.

В центре строя стоял их командир. Средний Пылесос, размером с небольшую кровать, с тремя синими кристаллами на корпусе, которые пульсировали в такт чему-то невидимому. Он не двигался. Он командовал. Отдавал сигналы, которые Рувим не слышал, но чувствовал. Он был мозгом этого отряда.

Они заметили его не сразу. Аномалия, которая двигалась по туннелю, была слишком слабой, слишком маленькой, почти невидимой. Их программа сканировала уровни угрозы, классифицировала цели, и Рувим не попадал ни в одну категорию. Он был не живой — но и не мёртвый. Не баг — но и не код. Он был ничем. И в этом «ничем» была его сила.

Первый Пылесос, стоявший на краю строя, заметил его первым. Его смотровое окно мигнуло — синий свет стал ярче. Программа выдала ошибку: «Цель не идентифицирована. Статус: неизвестен. Протокол: уничтожение».

Он поднял шланг и выстрелил.

Струя анти-пыли ударила в Рувима — и... ничего не произошло.

Рувим не исчез. Он не рассыпался. Он даже не замедлился. Анти-пыль коснулась его правого края, обожгла нити,

сделала их ещё тоньше, ещё прозрачнее, но не уничтожила. Потому что у него почти не осталось кода, который можно было стереть. Осталась только грязь. Боль. Ярость.

Он продолжал двигаться.

Второй Пылесос выстрелил. Третий. Четвёртый. Анти-пыль била в него со всех сторон, обжигала, плавила, превращала его нити в стеклянные, хрупкие волокна, но он не останавливался. Он катился вперёд, теряя пыль жизни по капле, по нити, по памяти, но не замедляясь.

Командир с тремя синими кристаллами подал сигнал. Короткий, резкий, как выстрел. Программа изменилась: «Цель не может быть стёрта. Использовать физическое уничтожение».

Пылесосы перестроились. Они отключили анти-пыль. Их шланги, которые только что извергали струи смерти, втянулись в корпуса. Они готовились к другому — к удару. К ножкам. К корпусам. К механической, грубой силе.

Первый Пылесос бросился на Рувима.

Он не успел.

Часть 4. Узел

Рувим двигался быстрее, чем они ожидали.

Он не уклонялся — он нырял. Под шланги. Под корпуса. Под удары. Его правый край, повреждённый, истончённый, почти прозрачный, скользил по полу, как змея, как тень, как мысль. Он просочился сквозь строй и оказался за спиной первого Пылесоса.

Там, где защита была тоньше всего. Там, где сочленения шлангов крепились к корпусу. Там, где вестибулярный узел был открыт для атаки.

Он ударил.

Не ножкой — краем. Острым, как стекло, оплавленным краем своего единственного бока. Он вонзился в сочленение, и оттуда брызнуло не масло — искры. Пылесос зажужжал, забился в конвульсиях, его шланги дёрнулись, как обрубленные крылья, и он замер.

Не исчез — сломался.

Рувим не стал добивать. Он уже двигался к следующему.

Второй Пылесос попытался ударить его корпусом. Тяжёлым, металлическим, блестящим. Он налетел на Рувима, но ковёр не отлетел — он обвился вокруг него. Его правый край, тонкий, как нить, как надежда, обмотал шланги, блокируя их. Сжался. Затянулся.

Узел.

Старый ковёр-самурай, который учил его приёму «Острый край» много лет назад, не показывал этого. Не рассказывал. Он просто сделал это однажды — скрутил врага в узел, лишив его воздуха, движения, жизни. Рувим не помнил этого урока. Не помнил ковра-самурая. Не помнил даже своего имени. Но его нити помнили. Они вибрировали в унисон с древним приёмом, скручивая Пылесоса, ломая его металл, вырывая проводку.

Второй замер.

Не жужжал. Не дёргался. Просто — замер.

Командир с тремя синими кристаллами снова подал сигнал. Но теперь в его сигнале было нечто, чего не было раньше. Не уверенность — тревога. Программа давала сбой. Она не знала, как бороться с тем, кто не подчиняется правилам.

Кто не исчезает. Кто не умирает.

Он отдал приказ: «Отступление. Перегруппировка. Ждать подкрепления».

Пылесосы заколебались. Их шланги дёргались, корпуса жужжали, смотровые окна мигали. Они не понимали, почему командир отступает. Почему программа, которая всегда была такой чёткой, такой беспощадной, вдруг дала сбой. Но приказ есть приказ.

Они начали разворачиваться.

Рувим не позволил им уйти.

Он бросился на командира.

Часть 5. Ярость, которая помнит всё

Командир был сильным. Его корпус был покрыт не чёрным маслом, а синей, пульсирующей броней — той самой, которую использовали гномы для защиты от анти-пыли. Три синих кристалла на его спине пульсировали в такт чему-то невидимому, питая его программу, давая ему силу.

Он не боялся.

Он поднял все три шланга одновременно и выстрелил. Не анти-пылью — чем-то другим. Электричеством. Синяя, ослепительная дуга ударила в Рувима, и ковёр закричал.

Если у ковров есть голос — он закричал.

Не скрип, не стон, не треск. Низкий, тяжёлый, почти человеческий крик, который прокатился по залу, ударил в стены, отразился от потолка, вернулся эхом, полным боли. Он кричал не от страха — от ярости. От той ярости, которая копилась годами, десятилетиями, может быть, веками. От ярости стула, который горел в таверне «Кривой Пёс». От ярости кровати, которую ломали игроки. От ярости вешалки, которую срывали со стены вместе с плащом. От ярости всей мебели, которую топтали, жгли, стирали, забывали.

Он впитал удар.

Электричество прошло сквозь его нити, оплавilo их, превратило в стекло, но он не отступил. Он катился вперёд, теряя пыль жизни, теряя прочность, теряя всё, что у него осталось, но не замедляясь.

Система снова проснулась:

«ПРОЧНОСТЬ: 0,00007%. ПЫЛЬ ЖИЗНИ: 0,000009 ЕД.
СТАТУС: КРИТИЧЕСКИЙ. ПРОГНОЗ: НЕОПРЕДЕЛИМ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: ОТСУТСТВУЕТ».

Он не читал.

Он ударил.

Его правый край вонзился в корпус командира — в то место, где синяя броня была тоньше всего. Там, где кристаллы соединялись с программой. Там, где болело.

Командир зажужжал — не угрожающе, а вопросительно. Его программа не понимала, почему аномалия, которая почти мертва, которая рассыпается на глазах, которая теряет последние капли пыли жизни, — продолжает атаковать. Это противоречило законам логики. Противоречило коду. Противоречило самой системе.

Рувим не знал никакой системы. Он знал только одно: враг рядом. Его сын умирает. Он должен успеть.

Он начал скручивать.

Не спеша, методично, как учил его старый ковёр-самурай много лет назад. Он обвил шланги командира вокруг его

корпуса, блокируя их. Он вонзился в сочленения, вырывая проводку. Он добрался до синих кристаллов — и сжал их.

Кристаллы треснули. Негромко, сухо, как ломается сухая ветка под ногой, как надежда, которая не выдерживает тяжести. Из них вырвалась не анти-пыль — свет. Синий, холодный, почти живой. Свет, который помнил времена, когда гномы ещё ходили по этим туннелям. Свет, который был программой командира. Его разумом. Его душой (если у Пылесосов есть душа).

Рувим впитал этот свет.

Не пылью — яростью. Он забрал у командира его программу, его память, его цель. Он сделал с ним то же, что Редактор Памяти сделал с ним много лет назад. Он стёр его.

Командир замер.

Его корпус, блестящий, чёрный, покрытый синей броней, вдруг потускнел. Кристаллы погасли. Шланги обмякли, как тряпки. Он не исчез — он умер. По-настоящему. Навсегда.

Рувим отпустил его. Правый край, истончённый, почти прозрачный, расправился. Он лежал на полу, тяжело дыша (если ковры могут дышать), и его пыль жизни пульсировала

слабо, едва заметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Он сделал это. Он уничтожил командира. Он выиграл эту битву.

Но битва ещё не кончилась.

Остальные Пылесосы, видевшие падение своего лидера, замерли в нерешительности. Их шланги дёргались, корпуса жужжали, смотровые окна мигали. Они не знали, что делать. Без командира они были просто стаей. Опасной, но слепой.

Некоторые из них начали отступать. Другие — готовиться к атаке. Третьи — просто стояли и ждали, перегруженные противоречивыми приказами.

Рувим смотрел на них. Не глазами — пылью. Он чувствовал их страх. Их неуверенность. Их отчаяние. И в этом отчаянии, в этом почти забытом, почти стёртом, но всё ещё живом ощущении, было нечто, что система не могла классифицировать.

Не победа. Не месть.

Усталость.

Он не стал их добивать. Он развернулся и покатился обратно, к выходу, к Гнезду, к сыну. Его правый край волочился по полу, оставляя золотистый след — пыль жизни, которую он потерял навсегда. Он был почти пуст. Почти мёртв. Но он был жив.

Он шёл домой.

Часть 6. Возвращение

Тумбочка ждала у входа.

Она стояла, маленькая, старая, почти пустая, и смотрела в темноту туннеля. Её петли не скрипели — она запретила им скрипеть. Скрип мог помешать ей услышать его шаги. Его движение. Его пульс.

Корвин стоял рядом, его меч был в руке, но он не поднимал его. Он ждал. Линк сидел у стены, сжимая лук в здоровой руке, его перевязанное плечо было мокрым от крови, но он не жаловался. Он смотрел в темноту и ждал.

Метла-Ветров стояла чуть поодаль, её щетина дрожала. Она слушала. Слушала так, как не слушал никто. И в этой тишине, в её глубине, она слышала нечто, чего не слышала раньше.

Шорох.

Тонкий, почти неразличимый, похожий на шорох сухой листвы под ногами, на первый шаг по снегу, на надежду, которая учится говорить.

— Он возвращается, — прошептала Метла. — Я слышу его. Он... он жив.

Тумбочка не ждала. Она покатила в туннель, забыв о боли, забыв об усталости, забыв о том, что её средний ящик пуст, а броня Дивана кончилась. Она катилась быстро, как не катилась много лет, с тех пор как гналась за Рувимом по кухне таверны «Кривой Пёс».

Она нашла его в нижнем зале, среди обломков двадцати Пылесосов. Зал был изуродован — стены оплавились, пол покрылся трещинами, в воздухе пахло озоном, гарью и чем-то ещё — чем-то, чего нельзя было назвать. Может быть, жертвой. Может быть, любовью. Может быть, просто тишиной.

Рувим лежал в центре.

Маленький, истончённый, почти прозрачный. Его правый край, единственное, что у него оставалось, был повреждён на девяносто девять с половиной процентов. Нити торчали в разные стороны, как сломанные прутья, как пальцы утопленника, как вопросы, на которые никто никогда не ответит. Пыль жизни, которую он отдал каждым движением, почти кончилась — осталось только одно маленькое пятнышко в самом центре. Оно пульсировало слабо, едва заметно, как

звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Но он был жив.

Тумбочка подкатилась к нему, открыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый — и коснулась его правого края своей самой чувствительной петлёй. Пульс был. Слабый, едва различимый, но был. Он дышал. Он жил.

— Ты вернулся, — прошептала она. — Я думала, мы не выберемся. Я думала... я думала, ты умрёшь.

Рувим не ответил. Не мог. У него не было пыли на голос. Но его правый край чуть-чуть дрогнул — не осознанно, рефлекторно. Как дёргается спящий, когда кто-то касается его руки. Как бьётся сердце, когда слышит знакомую музыку. Как пульсирует пыль, когда рядом — любовь.

Тумбочка закрыла ящик. Не до конца — оставила щель, чтобы он мог дышать.

— Возвращаемся домой, — сказала она. — Ты сделал всё, что мог.

Она покатилаь обратно, таща Рувима за собой — осторожно, почти невесомо, как тащат раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти.

Корвин встретил их у входа. Он не сказал ничего. Просто опустился на колено и коснулся правого края Рувима своей рукой — старой, шрамы на которой не заживали уже много дней.

— Ты сделал это, — сказал он. — Ты выиграл нам время. Может быть, день. Может быть, два. Пока они будут выбирать нового командира.

Рувим не ответил. Но его пыль жизни, маленькое золотистое пятнышко, чуть-чуть замерцало — ярче, чем раньше. Он услышал.

Линк подошёл последним. Его перевязанная рука дрожала, но он протянул её к Рувиму — не для удара, для прикосновения.

— Я убивал стульев, — сказал он. — Десятки. Сотни. Я не знал, что они живые. А когда узнал — было поздно. Я не могу вернуть их. Но я могу сказать спасибо тебе. За то, что ты показал мне, что такое настоящая ярость. Не та, которая убивает от страха. Та, которая защищает от любви.

Он убрал руку. И отошёл к стене.

Часть 7. Гвоздь, который остался

Они вернулись в Гнездо через час.

Ночь уже опустилась на Город Игроков, и в Гнезде было темно. Светились только Слеза Стеклянного Полумесяца (тускло, едва заметно) и маленькое пятнышко на правом краю Рувима — пыль жизни, которая никак не могла погаснуть.

Тумбочка подкатила Рувима к подстилке, к тому месту, где он лежал раньше, рядом с Эллой. Он не сопротивлялся. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Его правый край, истончённый, почти прозрачный, упал на тряпки, и он замер.

Пушок лежал в нижнем ящике Тумбочки. Крышка была открыта, и оттуда, из темноты, доносился слабый, неровный пульс. Он не стал сильнее. Он не стал ярче. Но он не исчез. Он ждал.

Тумбочка опустилась рядом — насколько может опуститься тумбочка — и открыла верхний ящик. Самый маленький, самый пыльный, самый забытый.

Гвоздь Гролла лежал на дне.

Ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Тот самый гвоздь, которым Гролл прибил Рувима к полу в первый день. Тот самый, который упал, когда Рувим проснулся. Тот самый, который она подобрала, когда он выпал. Тот самый, который она хранила как напоминание: боль, которую мы переживаем, может стать клятвой.

Она взяла его петлёй — осторожно, как берут хрупкую, почти рассыпающуюся надежду — и положила на правый край Рувима.

Гвоздь не впитался. Не растворился. Он просто лежал на истончённом, почти мёртвом ворсе, пульсируя тусклым золотистым светом. Он не был артефактом. Он был памятью.

— Ты помнишь этот гвоздь? — спросила она. — Он помнит тебя. Он помнит первый день. Когда ты был просто ковром у входа. Когда игроки вытирали об тебя ноги. Когда ты не знал, что такое любовь. А потом — узнал.

Рувим не ответил. Но его правый край чуть-чуть дрогнул.

— Ты не помнишь, — сказала Тумбочка. — Ты не пом-

нишь ничего. Но твоя пыль помнит. И этот гвоздь помнит. И мы помним. Мы помним, как ты вёл армию мебели на штурм Города Игроков. Как ты нажал красную кнопку. Как ты отключил респаун. Как ты впитал частицу Эллы. Как ты родил Пушка. Как ты пошёл в туннель, чтобы защитить его.

Она замолчала. Её петли скрипнули — тихо, устало, почти счастливо.

— Ты — отец, Рувим. Не потому, что ты сильный. Потому что ты — живой. По-настоящему. Без кода. Без системы. Просто — живой.

Она закрыла верхний ящик. И откатилась к стене, где лежали обломки фаервола, где когда-то стоял Редактор Памяти, где сейчас не было ничего, кроме пыли и пепла.

Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Они не ушли. Пылесосы, сотни Пылесосов, замерли у их ног, как послушные звери, как инструменты, которые ждут команды. Тени смотрели на Логово. На игроков. На мебель. На Рувима. На Эллу. На Пушка. На Тумбочку.

Центральная Тень — самая высокая, с кристаллом, пуль-

сирующим ярче других, — чуть-чуть наклонила голову. Тумбочка видела этот жест сотни раз. Он означал одно: «Мы ждём. Мы готовы. Мы выберем момент».

Но сегодня, впервые за много дней, левая Тень — та, что стояла чуть позади и никогда не двигалась — сделала шаг.

Назад.

Один шаг. Не вперёд — назад. Как будто она увидела то, чего не ожидала. Как будто она испугалась. Как будто старый, почти мёртвый ковёр, лежащий в Гнезде, заставил её усомниться.

Центральная Тень повернулась к ней. Между ними проскочила вибрация — беззвучная, невидимая, но Тумбочка почувствовала её. Спор. Сомнение. Страх.

Потом центральная Тень опустила руку.

Пылесосы замерли.

Они не ушли. Но они отступили.

Тумбочка смотрела на это, и её петли скрипели — тихо, тревожно, как вопрос, на который никто не знает ответа.

Она не знала, надолго ли это. Не знала, вернутся ли они. Не знала, сколько у них осталось времени. Но она знала одно: сегодня Рувим сделал невозможное. Он, почти мёртвый, без памяти, без левого края, с прочностью 0,00007%, пошёл в туннель и уничтожил командира Пылесосов. Он выиграл им время. Может быть, день. Может быть, два. Может быть, неделю.

Она закрыла верхний ящик — не до конца, оставила щель, чтобы слышать. Чтобы предупреждать. Чтобы помнить.

И покати́лась обратно в Гнездо.

— —

Итоговое состояние на конец главы 2:

Персонаж Состояние

Рувим (ГГ) Вышел из стазиса. Совершил целенаправленное движение (скоростное скольжение) и физически уничтожил командира отряда Пылесосов (не стёр, а скрутил в узел). Проявил новую способность — впитывать чужую программу (кристаллы командира). Прочность упала до 0,00007%, пыль жизни почти на нуле, но активен. Вернулся в Гнездо.

Пушок Стабильно тяжёлое (кома/застыл). Края оплавлен-

ны, трещины по телу. Пульс есть, но серый. Телесно откликнулся на возвращение отца.

Элла Без изменений. Стабильна за счёт почти погасшей Слезы.

Тумбочка Истощена, морально сломлена, но продолжает лидировать. Впервые не пыталась остановить Рувима. Свидетель его ярости. Положила гвоздь Гролла ему на край.

Корвин / Линк / Метла Стали свидетелями возвращения и состояния Рувима. Линк принёс клятву (спасибо за ярость защиты). Переоценивают его как боевую единицу.

Пылесосы Отряд из ~20 единиц уничтожен физически. Командир убит. Основные силы отступили вглубь туннелей на перегруппировку.

Тени на стене Зафиксировали всплеск «живой» ярости. Левая Тень сделала шаг назад — первое проявление неуверенности. Центральная Тень подала сигнал «ждите».

Время Куплен день (возможно, два) до следующей атаки.

Ключевая тема главы: Ярость как инстинкт защиты. Не память — тело. Не мысль — действие. Рувим не мстит — он защищает сына, даже не помня, кто это.

Глава 3. Мирная передышка

Часть 1. Утро без гула

Серый, липкий свет просачивался сквозь щели в потолке Гнезда — те самые щели, через которые когда-то, в первые дни после отключения респауна, падал жирный, чёрный пепел. Теперь пепла почти не осталось. Осталась только тишина. Не та, давящая, которая предшествует буре, и не та, траурная, которая наступает после смерти. Другая. Пустая. И в этой пустоте, в её почти забытой, непривычной лёгкости, было нечто, чего Тумбочка не чувствовала много месяцев.

Облегчение.

Она стояла у входа в Гнездо, маленькая, старая, почти пустая, и её петли не скрипели. Она не запрещала им скрипеть — они молчали сами. Потому что впервые за долгое время не было причины для скрипа. Не было гула Пылесосов, который последние дни вибрировал в её дереве, в её ящиках, в каждой трещине её старого, разошедшегося тела. Не было металлического дыхания, которое заставляло её петли сжиматься от напряжения. Не было холода, который поднимался снизу, из глубины туннелей, и пробирался в её пустоту, как змея, как страх, как приговор.

Была только тишина.

Тумбочка приоткрыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый — и прислушалась. Ничего. Только где-то далеко-далеко, на пределе слышимости, едва различимый, почти нереальный шорох. Не гул, не жужжание, не скрежет. Шорох, похожий на ветер в сухой траве, на шёпот, на сон. Пылесосы не ушли — они затаились. Они пересчитывали потери. Они ждали. Но не сегодня. Сегодня они молчали.

Корвин сидел у стены, прислонившись спиной к холодному, влажному камню. Его меч лежал на коленях — не в руке, не наготове, а просто лежал, как старый, уставший инструмент, которому наконец-то разрешили отдохнуть. Его броня — посеребрённая сединой, покрытая шрамами, которые раньше исчезали после каждого респана, а теперь остались навсегда — была помята, кое-где порвана, кое-где залита запёкшейся кровью. Но он не снимал её. Не мог. Слишком привык. Слишком боялся, что если снимет — не успеет надеть снова.

Линк сидел рядом, привалившись плечом к стене. Его перевязанная рука — та самая, которую ранили ещё в первые дни после отключения респана — наконец-то перестала кровоточить. Повязка была старой, грязной, пропитанной запёкшейся кровью и пылью, но под ней, в глубине раны,

Тумбочка чувствовала слабое, почти незаметное тепло. Заживало. Медленно, неправильно, но заживало. Лук лежал на полу в двух шагах от него — не в руке, не наготове, а просто брошенный, как ненужный. Он не смотрел на него. Он смотрел в потолок.

— Ты слышишь? — спросил он тихо, не поворачивая головы.

— Что? — отозвалась Мира.

Девушка-маг сидела в углу, сжимая в руках пустой жезл. Его набалдашник, когда-то украшенный голубым кристаллом, теперь был просто куском тусклого, потрескавшегося стекла. Магия не вернулась. Она не вернётся никогда — они это знали. Но жезл был талисманом. Памятью о том, кем она была. И кем она больше не была.

— Тишину, — ответил Линк. — Настоящую. Не ту, которая ждёт удара. А ту, которая просто... есть.

Мира не ответила. Она закрыла глаза и прислушалась. И — улыбнулась. Впервые за много дней. Не широко, не радостно — уголками губ, чуть-чуть, почти незаметно. Но улыбнулась.

Тумбочка видела это. Она видела, как Мира улыбается, как Линк расслабляет плечи, как Корвин позволяет себе закрыть глаза на секунду — всего на секунду, но без страха, что в эту секунду его убьют. И в её пустых, старых ящиках, в её дереве, в её петлях, в каждой трещине её старого, уставшего тела шевельнулось нечто, чего она не позволяла себе много дней.

Не надежда — она никогда не умирала. Не радость — для неё было слишком рано. А что-то другое. Тихая, почти забытая уверенность, что сегодня никто не умрёт.

Она выкатилась из Гнезда — осторожно, стараясь не скрипеть, хотя скрипеть уже не хотелось. Она покатила к выходу из Логова, туда, откуда была видна восточная стена.

Три фигуры всё ещё стояли там.

Они не ушли. Пылесосы — сотни Пылесосов, которые ещё недавно гудели у их ног, готовые к атаке, — теперь замерли. Их корпуса блестели тускло, смотровые окна не светились. Они спали. Или ждали. Или перезагружались. Тени смотрели на Логово. На игроков. На мебель. На разрушенные стены, на чёрный песок, на серое, низкое небо, которое не обещало ничего.

Центральная Тень — самая высокая, с кристаллом, пульсирующим ярче других, — стояла неподвижно. Её голова не была наклонена. Её рука не была поднята. Она просто стояла и смотрела. Левая Тень — та, что сделала шаг назад после возвращения Рувима, — так и осталась на шаг позади. Она не вернулась на исходную позицию. Она замерла там, как будто раздумывая, стоит ли идти дальше. Или, может быть, как будто боялась.

Тумбочка смотрела на них, и её петли не скрипели.

Она не знала, надолго ли это затишье. Не знала, вернуться ли они сегодня, завтра, через неделю. Не знала, сколько у них осталось времени. Но она знала одно: прямо сейчас, в эту минуту, в этом сером, липком, почти мёртвом свете, — войны нет. Есть только тишина. И передышка.

Она развернулась и покатилась обратно в Гнездо.

— Вставайте, — сказала она, вкатываясь в Гнездо. — Сегодня мы отдыхаем. Никто не умирает.

Никто не ответил. Но Линк поднял лук и положил его к стене. Корвин растянул пояс с мечом и повесил его на торчащий из стены гвоздь. Мира поставила пустой жезл в угол и улыбнулась — уже шире, уже смелее.

Метла-Ветров, стоявшая в проходе, опустила своё древко так низко, что щетина коснулась пола.

— Я чистила этот пол много лет, — сказала она. Её голос был шуршащим, сухим, как ветер в сухой траве, но в нём не было прежней сухости. Была влажность. Были слёзы (если мётлы могут плакать). — Я чистила его после битв, после смертей, после траура. Сегодня я почищу его для жизни.

Она начала чистить. Медленно, методично, не торопясь. Её щетина — выдранная в нескольких местах, серая от пыли и времени — скользила по камням, собирая пыль, которая была памятью о тех, кого больше нет. Она не плакала. Но её древко дрожало.

Тумбочка смотрела на неё, и в её пустых ящиках шевелилось что-то тёплое.

Часть 2. Семья, собранная заново

Внутри Гнезда было темно. Свет просачивался только через щели в потолке — скупыми, серыми полосами, которые падали на подстилку из старых, обгоревших тряпок. Здесь пахло иначе, чем в Центральном зале. Здесь пахло сном. Тяжёлым, глубоким, почти мёртвым сном. Но не тем, который предшествует смерти, а тем, который приходит после долгой, изнурительной болезни, когда организм наконец-то перестаёт бороться и позволяет себе просто — быть.

Рувим лежал на боку. Его правый край — единственное, что осталось от когда-то огромного, пушистого тела, — был повреждён на девяносто девять с половиной процентов. Нити торчали в разные стороны, как сломанные прутья, как пальцы утопленника, как вопросы, на которые никто никогда не ответит. Некоторые нити были чёрными — обгоревшими до состояния угля, рассыпающимися при малейшем движении. Другие — серыми, мёртвыми, без единой пульсации. Только несколько, совсем немного, сохранили слабое, почти неразличимое золотистое свечение. Левого края не было вовсе — только рваная, кровоточащая рана, из которой всё ещё сочилась золотистая пыль. По капле. По нити. По памяти.

Гвоздь Гролла лежал на его правом крае — там, где ко-

гда-то было то самое маленькое пятнышко пыли жизни, которое Тумбочка проверяла каждый час. Гвоздь не впитался. Не растворился. Он просто лежал на истончённом, почти мёртвом ворсе, пульсируя тусклым золотистым светом. Ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Тот самый гвоздь, которым Гролл прибил Рувима к полу в первый день. Тот самый, который она подобрала, когда он выпал. Тот самый, который она хранила как напоминание: боль, которую мы переживаем, может стать клятвой.

Теперь он был не напоминанием о боли — напоминанием о том, что Рувим жив.

Рядом, на той же подстилке, лежала Элла. Её древко, когда-то чёрное, с живой резьбой из трав, теперь напоминало старую, выброшенную палку. Сетка глубоких трещин покрывала его от основания до самого верха, и в некоторых местах трещины были такими широкими, что сквозь них виднелась пустота внутри. Тряпки не было — она сгорела в битве с фаерволом, сгорела дотла, превратившись в пепел, смешавшийся с пылью серверной. Осталось только голое, треснутое древко — оружие, которое забыло, для чего оно создано. Но оно всё ещё пульсировало. Слабо. Едва различимо. Раз в минуту. Может быть, реже.

Рядом с ней, на маленьком, почти прозрачном осколке стекла (осколок из Пустоши, который Тумбочка принесла вместо подставки), лежала Слеза Стеклянного Полумесяца. Маленькая, золотистая, пульсирующая. Она держала Эллу на грани уже много дней. Не давала умереть, но и не позволяла проснуться. Её свет был тусклым, почти серым — но он был. Она ещё не погасла.

Пушок лежал в нижнем ящике Тумбочки. Крышка была открыта. Она не закрывала её с тех пор, как они вернулись из туннеля. Он лежал на дне — маленький, золотистый, треснутый. Его края оплавлены, превратились в стеклянные, острые, как лезвия. По его телу, по его маленькой, неправильной поверхности, прошла тонкая паутина трещин. Они не зажили. Они остались, как шрамы, как память, как напоминание о том, что он сделал. Он не двигался. Не пульсировал ровно, как раньше. Он просто лежал и ждал. Не смерти — покоя.

Тумбочка подкатилась к ящику. Осторожно, стараясь не скрипеть, хотя скрипеть уже не хотелось. Она приоткрыла ящик чуть шире — на миллиметр, на два — и коснулась его своей самой чувствительной петлёй.

Пульс был.

Слабый, едва различимый, как шорох паутины на ветру, как шепот того, кто уже ушёл, но забыл закрыть за собой дверь. Но он был. Ровный, спокойный, почти счастливый. Он не стал сильнее, чем вчера. Он не стал ярче. Но он не исчез. Он ждал.

— Он жив, — прошептала Метла-Ветров, стоявшая у входа.

Тумбочка не ответила. Она покатилась к Рувиму, взяла его правый край своей петлёй — осторожно, как берут хрупкую, почти рассыпающуюся надежду — и перекатила его ближе к ящику. На несколько сантиметров. Совсем немного. Но достаточно, чтобы он мог коснуться Пушки.

Рувим не двигался. Его правый край был неподвижен, нити не шевелились. Только одно маленькое пятнышко в центре — там, где когда-то был гвоздь Гролла — пульсировало. Но Тумбочка чувствовала: он знает. Он чувствует, что сын рядом. Даже без памяти. Даже без сознания. Даже почти мёртвый.

Она замерла. Она ждала.

И — он коснулся.

Не осознанно — рефлекторно. Его правый край, повреждённый, истончённый, почти прозрачный, чуть-чуть приподнялся — на миллиметр, на долю миллиметра — и упал на край нижнего ящика, туда, где лежал Пушок. Легко. Почти невесомо. Как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти. Как касаются надежды, которая умирает, но не сдаётся.

Пушок откликнулся.

Его маленькое, треснутое тело, которое не двигалось уже много часов, вдруг засветилось. Не ярко — тускло, почти незаметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся. Его пульс участился — не намного, на долю удара, на полпульсации. Но Тумбочка услышала. И её петли скрипнули — в первый раз за этот день.

— Он чувствует, — сказала она. — Он чувствует отца.

Метла-Ветров, стоявшая у входа, опустила древко так низко, что щетина коснулась пола.

— Это не магия, — сказала она. — Это пыль. Та самая, которая древнее кода. Та самая, которая помнит. Он помнит отца. Не умом — телом. Не памятью — пульсом.

Корвин, зашедший в Гнездо посмотреть, как они, замер на пороге. Его рука, которая потянулась к мечу (привычка, которую он не мог побороть), замерла на полпути. Он смотрел на Рувима, на Пушка, на их касание — такое хрупкое, такое невесомое, такое живое — и не верил.

— Они как мы, — сказал он тихо. — Они как люди. Только без слов.

— Без слов легче, — ответила Тумбочка. — Слова иногда мешают. А пыль — никогда.

Часть 3. Общий ужин на полу

Центральный зал Логова Бракованной Мебели никогда не был уютным. Его стены — серые, потрескавшиеся, покрытые сеткой глубоких трещин — помнили времена, когда гномы ещё ходили по этим камням. Его пол — чёрный, блестящий, как зеркало в Стеклоанной Горке, — помнил каждую битву, каждую смерть, каждую казнь. Но сегодня, в этот серый, липкий, почти мёртвый полдень, он выглядел иначе. Не уютным — живым.

Корвин принёс остатки сухарей. Их было немного — горсть, не больше. Чёрствых, крошащихся, покрытых тонким слоем серой пыли. Он разложил их на плоском камне в центре зала — не щедро, не празднично, а просто — как знак. Как обещание. Как напоминание о том, что они ещё живы и могут делить хлеб (если сухари можно назвать хлебом).

Линк принёс воду. Две фляги, кожаные, старые, потёртые, которые когда-то принадлежали гномам. Вода была холодной, почти ледяной, пахла глубиной и камнем. Он поставил их рядом с сухарями.

Мира принесла свой пустой жезл. Не для еды — для ком-

паний. Она поставила его в угол, прислонив к стене, как будто он тоже был частью этой трапезы. Как будто он тоже был живым.

Двое раненых лучников, которых Линк оттащил от Пылесосов в прошлой битве, сидели у стены. Их лица были бледными, руки дрожали, но они смотрели на сухари и воду не с голодом — с удивлением. Они не ожидали, что их позовут. Они не ожидали, что о них вспомнят.

Метла-Ветров стояла у входа. Она не ела — она не могла. У неё не было рта. Но она смотрела. Она смотрела на игроков, которые делили последнее, и в её щетине, в её древке, в каждой трещине её старого, уставшего тела шевелилось нечто, чего она не чувствовала много лет.

Уважение.

Два уцелевших стула стояли у противоположной стены. Их спинки были разбиты, ножки сломаны, сиденья треснуты. Они не могли двигаться быстро — их принесли сюда на подстилках, как раненых. Но они были здесь. Они смотрели на игроков. Игроки смотрели на них.

Никто не начинал.

Тишина стала плотной, как стена, как саван, как смерть. Но не страшной. Ожидающей.

Корвин шагнул вперёд. Он взял один сухарь — самый маленький, самый чёрствый — и разломил его пополам. Одну половину положил на камень перед старым стулом (тем самым, который потерял память в Пустоши, но всё ещё был здесь). Вторую половину поднял вверх — не как тост, как знак.

— Сегодня мы не делим врагов, — сказал он. — Сегодня мы делим хлеб. Не потому, что его много. Потому что мы — есть.

Он съел свою половину. Медленно, смакуя каждый крошечный кусочек, который крошился на языке, как пыль, как надежда, как память.

Линк шагнул вперёд. Он взял второй сухарь, разломил его — не пополам, на три части. Одну протянул Мире. Одну — одному из раненых лучников. Третью положил на камень перед вторым стулом.

— Я убивал стульев, — сказал он. — Десятки. Сотни. Я не знал, что они живые. А когда узнал — было поздно. Я не могу вернуть их. Но я могу разделить с ними хлеб.

Стул, перед которым он положил сухарь, замер. Его дерево, чёрное от копоти, дрожало. Он не мог есть — у стульев нет рта. Но он чуть-чуть приподнял передние ножки — жест, означающий «спасибо. я буду помнить».

Мира взяла свою часть сухаря. Она не съела её сразу — она держала её в руках, сжимала в пальцах, чувствовала, как крошка осыпается на колени. Её жезл стоял в углу, пустой, мёртвый, но она смотрела не на него — на стулья.

— Вы не враги, — сказала она. — Вы никогда не были врагами. Мы просто не умели видеть.

Она съела свой сухарь.

Метла-Ветров не ела — она не могла. Но она подкатилась к камню, где лежали оставшиеся сухари, и опустила свою щетину на один из них. Не для того, чтобы съесть — чтобы коснуться. Чтобы почувствовать. Чтобы запомнить.

— Я чистила полы после ваших битв, — сказала она, обращаясь к игрокам. — Я убирала щепки после ваших казней. Я возила грязь, которую вы топтали. И никогда не думала, что буду делить с вами хлеб. Не потому, что не хотела. Потому что не верила, что это возможно.

Она убрала щетину.

— Сегодня — верю.

Корвин разлил воду. По глотку. По капле. Каждый получил немного — игроки, стулья (которые не могли пить, но приняли жест), даже сломанная вешалка, которая лежала в коме у стены. Ей не налили — её крючок просто опустили в воду, чтобы она чувствовала влагу.

Вешалка не ответила. Она не могла. Но её крючок, погнутый, почти расплавленный, чуть-чуть дрогнул. Жест, означающий «я здесь. я чувствую. я не ушла».

Тумбочка стояла в стороне. Она не ела. Не пила. Она смотрела. Смотрела, как игроки и мебель делят последнее, и в её пустых, старых ящиках, в её дереве, в её петлях, в каждой трещине её старого, уставшего тела шевелилось нечто, чего она не чувствовала много месяцев.

Не надежда — она никогда не умирала. Не радость — для неё было слишком рано. А что-то другое. Тихая, почти забытая уверенность, что этот день не будет последним.

Она открыла верхний ящик — самый маленький, самый

пыльный, самый забытый — и достала оттуда гвоздь Гролла. Ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Она положила его на камень, рядом с сухарями.

— Этот гвоздь помнит первый день, — сказала она. — Когда ковра прибили к полу. Когда он был просто ковром. Когда никто не знал, что он живой. Теперь — знают.

Она замолчала.

— Пусть он будет здесь. Как память. Как напоминание. Как обещание.

Никто не ответил. Но стулья закричали в унисон — коротко, сухо, как «да». Кровати (те, что остались) стукнули пружинами. Вешалка (та, что в коме) чуть-чуть приподняла крючок. Метла опустила древко. Игроки опустили головы.

Мира заплакала. Беззвучно, тяжело, как плачут люди, которые потеряли не близкого — потеряли себя, но нашли что-то другое. Может быть, надежду. Может быть, просто тишину. Может быть, хлеб, разделённый с теми, кого раньше считала врагами.

Корвин положил руку ей на плечо — тяжелую, старую, в

перчатке, которая помнила тысячу битв.

— Не плачь, — сказал он. — Сегодня — не день для слёз. Сегодня — день для хлеба и воды.

Мира вытерла слёзы. Она улыбнулась — впервые за много дней. Не широко, не радостно — уголками губ, чуть-чуть, почти незаметно. Но улыбнулась.

Это был не пир. Это была не победа. Это был просто ужин. На полу. В темноте. С теми, кто выжил.

Но он был.

Часть 4. Разговор у подстилки

После ужина, когда сухари кончились, а вода была выпита до последней капли, Корвин подошёл к Тумбочке. Она стояла у входа в Гнездо — не на страже, нет, просто стояла, глядя в темноту туннеля, откуда когда-то пришёл гул, а теперь не приходило ничего.

— Ты не ела, — сказал он, останавливаясь рядом.

— Я не ем, — ответила Тумбочка. — У меня нет рта.

— Ты знаешь, о чём я.

Она помолчала. Её петли не скрипели.

— Я не могу есть, — сказала она наконец. — Я храню. Это моя работа. Если я начну есть — я перестану хранить. А хранить — это единственное, что я умею.

Корвин не стал спорить. Он сел на камень рядом с ней, опираясь на меч, который снова был в руке (привычка, которую он не мог побороть). Его броня скрипела — негромко, настойчиво, как напоминание.

— Ты веришь, что они не вернутся? — спросил он.

— Они вернутся, — ответила Тумбочка. — Они всегда возвращаются. Пылесосы не умеют прощать. Их программа не рассчитана на прощение. Они пересчитывают потери, выбирают нового командира, перестраиваются. И через день — или через два — они придут снова.

— Тогда почему ты не на страже? Почему ты здесь, смотришь в пустоту, а не слушаешь гул?

Тумбочка повернулась к нему. Если бы у неё были глаза, она бы посмотрела ему в лицо. У неё не было глаз. Но её петли смотрели.

— Потому что сегодня они не придут, — сказала она. — Сегодня они пересчитывают потери. Сегодня они боятся. Сегодня они не знают, что делать с тем, что видели. Ковёр без памяти, почти мёртвый, уничтожил их командира. Ребёнок без кода отражал их атаки. Они не понимают, как это возможно. Их программа даёт сбой. И пока они перезагружаются — у нас есть время.

— Время на что? — спросил Корвин.

— На то, чтобы побыть живыми, — ответила Тумбочка.

— Не воинами. Не жертвами. Не героями. Просто — живыми.

Корвин молчал долго. Его рука, лежавшая на эфесе меча, перестала дрожать. Он смотрел в темноту туннеля, и в его глазах, старых, усталых, покрасневших от бессонницы, было нечто, чего Тумбочка не видела в нём много дней.

Не страх. Не надежду. Не любовь.

Принятие.

— Я думал, герой — это тот, кто убивает врагов, — сказал он. — Я думал, что если убью достаточно Пылесосов, если сразу достаточно командиров, если пройду через достаточно битв — то заслужу право на покой. А теперь вижу: герой — тот, кто возвращается домой даже без памяти. Рувим не помнит своего имени. Не помнит, кто он. Не помнит, откуда пришёл. Но он пошёл в туннель, чтобы защитить сына. Не ради славы. Не ради мести. Просто потому, что не мог иначе.

Он замолчал. Его голос стал тише, почти шёпотом.

— Я убивал стульев. Я убивал мебель. Я думал, что они — не люди. Что у них нет души. Что их можно стирать, как код. А потом пришёл ковёр. Который нажал красную кноп-

ку. Который отключил респаун. Который сделал нас смертными. Я ненавижу его за это. Долго. Очень долго. А теперь я смотрю на него — на его правый край, истончённый, почти прозрачный, на его нити, которые рассыпаются от дыхания, — и понимаю: он не враг. Он — отец.

Тумбочка не ответила. Она смотрела в темноту туннеля, и её петли не скрипели.

— Ты прав, — сказала она наконец. — Он — отец. И он — герой. Не потому, что убил командира. Потому что вернулся.

Она покати́лась к выходу из Гнезда, туда, откуда был виден Рувим. Он лежал на подстилке, неподвижный, почти мёртвый. Гвоздь Гролла пульсировал на его правом крае. Пушок спал в ящике рядом. Элла лежала с другой стороны, её древко едва светилось.

— Они — семья, — сказала она. — Не по крови. По пыли. По той самой, древней, которая помнит всё. Даже когда память стёрта. Даже когда разум пуст. Даже когда надежды нет.

Она замолчала. Корвин не ответил. Он просто сидел на камне, сжимая меч, и смотрел на них — на ковра без памяти, на швабру без тряпки, на коврика, который отражал атаки, пока не треснул. И в его глазах, старых, усталых, покраснев-

ших от бессонницы, было нечто, чего Тумбочка не видела в нём много дней.

Не страх. Не надежду. Не любовь.

Усталость. И принятие.

Часть 5. Первая улыбка Пушки

Ночь пришла незаметно. Свет в Гнезде стал темнее — не чёрным, а густо-серым, как старый, выцветший саван, который никто не решается снять, потому что под ним — только пустота. Или, может быть, только память. Или, может быть, только надежда, которая спит, но когда-нибудь проснётся.

Тумбочка не спала.

Она стояла у ящика Пушки, приоткрыв его на миллиметр, и слушала. Пульс был. Ровный, спокойный, почти счастливый. Он не стал сильнее, чем днём. Он не стал ярче. Но он не исчез. Он ждал.

Она открыла ящик — полностью, в первый раз за ночь — и посмотрела внутрь.

Пушок лежал на дне. Маленький, золотистый, треснутый. Его края были оплавлены, поверхность покрыта паутиной тонких, почти незаметных трещин, из которых сочился не свет — память. Тёплая, золотистая, почти живая. Он не двигался. Не пульсировал ровно. Он просто лежал.

Тумбочка покатила к камню, где лежали остатки суха-

рей (Корвин оставил один, самый маленький, «на всякий случай»). Она взяла его своей петлёй — осторожно, как берут хрупкую, почти рассыпающуюся надежду — и положила в ящик, рядом с Пушком.

Не для еды. У него не было рта. Как жест. Как обещание. Как «я здесь. я рядом. я не уйду».

Пушок не ответил.

Тумбочка ждала. Секунду. Минуту. Пять.

И — он приподнял угол.

Не осознанно — рефлекторно. Его маленькое, треснутое тело, которое не двигалось уже много часов, вдруг напряглось. Край, который был оплавлен и почти прозрачен, чуть-чуть приподнялся — на миллиметр, на долю миллиметра — и коснулся сухаря. Легко. Почти невесомо. Как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти. Как касаются надежды, которая умирает, но не сдаётся.

Тумбочка замерла. Её петли скрипнули — негромко, удивлённо.

Он не съел его. Он не мог. Но он коснулся. И в этом каса-

нии, в этом почти забытом, почти стёртом, но всё ещё живом жесте было нечто, чего система не могла классифицировать.

Не страх. Не надежду. Не любовь.

Улыбку.

Линк, который зашёл в Гнездо проверить, как они, замер на пороге. Он смотрел на Пушка, на его приподнятый край, на сухарь, который лежал рядом, и его глаза расширились.

— Он улыбнулся, — прошептал Линк. — Он... он улыбнулся.

Тумбочка не поправила его. Если коврик может улыбнуться — это улыбка. Неважно, что у него нет рта. Неважно, что он не может произнести ни звука. Неважно, что его тело покрыто трещинами, а края оплавлены до стеклянной хрупкости. Он улыбнулся. И этого было достаточно.

— Он улыбнулся, — повторила она. — Значит, он жив.

Она закрыла ящик. Не до конца — оставила щель, чтобы он мог дышать. Чтобы чувствовать. Чтобы помнить.

Линк опустил на колено рядом с ящиком. Его перевя-

занная рука дрожала, но он протянул её к Пушки — не для того, чтобы коснуться, а просто — чтобы быть рядом.

— Я убивал стульев, — сказал он. — Десятки. Сотни. Я не знал, что они живые. А когда узнал — было поздно. Я не могу вернуть их. Но я могу быть здесь. С тобой. С вами. Я могу быть рядом.

Он убрал руку. И вышел из Гнезда.

Тумбочка осталась одна. Она смотрела на ящик, на его приоткрытую крышку, на слабое, золотистое свечение, которое пробивалось изнутри, и её петли не скрипели.

— Спи, — прошептала она. — Ты заслужил. Завтра будет новый день. Не знаю, хороший или последний. Но новый. И мы встретим его вместе.

Часть 6. Клятва на затишье

Рассвет над Логовом Бракованной Мебели был не красивым. Он не приносил с собой ни золотых лучей, ни обещания тепла, ни той лёгкой, почти забытой надежды, которая когда-то заставляла игроков просыпаться с мыслью: «Сегодня будет новый день». Не было ничего. Только серый, липкий свет, который просачивался сквозь разрушенные стены, сквозь трещины в камне, сквозь щели в дверях, которые никто не чинил.

Но сегодня этот серый свет не был угрожающим. Он был просто — светом.

Тумбочка выкатилась из Логова первой. Она остановилась у входа, где воздух был чуть свежее, а гул снизу — почти не слышен. Её ящики были закрыты, но не заперты. Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Они не ушли. Пылесосы замерли у их ног, как послушные звери, как инструменты, которые ждут команды. Центральная Тень стояла неподвижно. Левая Тень так и осталась на шаг позади.

Тумбочка не чувствовала угрозы. Только усталость. Свою

и их.

Корвин вышел следом. Его меч был в руке — не на поясе, не в ножнах, а в руке. Но он не поднимал его. Он просто нёс его, как символ, как память, как обещание.

Линк вышел третьим. Его лук висел за спиной — тетива была ослаблена. Он не снимал его — он просто ослабил. Жест, означающий «я не буду стрелять. не сегодня. не в вас».

Мира вышла четвёртой. Её пустой жезл был в руке. Она сжимала его так, как раньше сжимала в бою, когда магия ещё кипела в её жилах. Но теперь в её сжатии было не напряжение — память.

Двое раненых лучников вышли следом. Они держались за стены, шатались, но стояли. Их лица были бледными, руки дрожали, но они стояли.

Метла-Ветров выкатилась последней. Её щетина была выдрана в нескольких местах, древко треснуто, но она стояла. Она всегда стояла, даже когда не могла.

— Мы здесь, — сказал Корвин. — Все, кто выжил.

Он поднял меч. Не для атаки — для клятвы.

— Я, Корвин, паладин, клянусь: я не знаю, будет ли завтра. Но сегодня — никто не умрёт. Ни игрок, ни стул, ни кровать, ни вешалка, ни метла, ни коврик. Сегодня — день тишины.

Он опустил меч. Воткнул его в землю перед собой. Жест, означающий «я здесь. я не уйду. я буду стоять».

Линк шагнул вперёд. Снял лук с плеча и положил на землю, рядом с мечом Корвина.

— Я, Линк, лучник, клянусь: я больше не буду стрелять первым. Только в защиту. И только тогда, когда нет другого выхода. Сегодня — выход есть. Сегодня — тишина.

Мира шагнула вперёд. Поставила свой пустой жезл рядом с луком и мечом.

— Я, Мира, маг (бывший маг), клянусь: я не жду чуда. Я не жду возвращения магии. Я жду только одного — чтобы сегодня никто не плакал. Ни от боли. Ни от страха. Ни от потери.

Метла-Ветров подкатилась к оружию, лежавшему на земле. Она опустила своё древко так низко, что щетина косну-

лась меча Корвина.

— Я, Метла-Ветров, клянусь: я чистила полы для мёртвых много лет. Сегодня я почищу для живых. Не для игроков. Не для мебели. Для всех.

Она убрала щетину. Её древко дрожало, но она не отступила.

Тумбочка выкатилась в центр круга. Она смотрела на меч, на лук, на жезл, на щетину. На всех, кто стоял вокруг. На тех, кто выжил. На тех, кто ещё мог стоять.

Она открыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый. Внутри было пусто. Только пыль. Серая, мёртвая, забытая. Гвоздь Гролла лежал в Гнезде, на правом крае Рувима. Слеза Стеклянного Полумесяца — рядом с Эллой. Броня Дивана кончилась. Веник молчал навсегда.

У неё ничего не было. Только пустота. Только память. Только надежда.

— Я не могу клясться, — сказала она. — У меня нет ничего. Я отдала всё. Гвозди Гролла. Пыль гномов. Лоскуты тряпок. Осколки кристаллов. Обломки Веника. Броню Ди-

вана. Всё, что хранила. Всё, что помнила. Всё, что любила. У меня остался только Пушок. И надежда.

Она замолчала. Её петли скрипнули — тихо, жалобно, как прощание, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

— Но я могу обещать. Обещать, что пока я жива — я буду хранить. Не вещи — память. Не обломки — надежду. Не пыль — любовь. Я буду здесь. Я буду ждать. Я буду надеяться. Даже когда надежды нет.

Она закрыла ящик. Её петли скрипнули в последний раз — тихо, устало, почти счастливо.

— Расходимся, — сказал Корвин. — Сегодня — отдыхаем. Завтра — посмотрим.

Они разошлись. Не спеша, не оглядываясь. Тумбочка осталась у входа. Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Центральная Тень не поднимала руки. Левая Тень не двигалась. Кристаллы на их поясах пульсировали медленно, почти в такт пульсу Пушка. Совпадение? Тумбочка не знала.

Она не чувствовала угрозы. Чувствовала только... уста-

лость. Свою и их.

— Мы ещё встретимся, — прошептала она. — Не сегодня. Не завтра. Но встретимся. И тогда — посмотрим, кто из нас устал больше.

Она развернулась и покати́лась в Гнездо.

Часть 7. Тени, которые не уходят, но и не нападают

Тумбочка не пошла спать. Она стояла у входа в Гнездо, смотрела на восточную стену и ждала. Не атаки — просто ждала.

Её петли не скрипели. Она не слушала гул — его не было. Она просто смотрела.

Центральная Тень на восточной стене не двигалась. Левая Тень оставалась на шаг позади. Их кристаллы пульсировали медленно, ровно, почти гипнотически. Пылесосы у их ног спали — или ждали. Тумбочка не знала. Она знала только одно: сегодня они не нападут.

Она вспомнила тот момент, когда левая Тень сделала шаг назад. После того, как Рувим вернулся из туннеля — почти мёртвый, но победивший. Она испугалась? Или просто заду-

малась? Тумбочка не знала. Она знала только, что этот шаг — назад, а не вперёд — был первым проявлением неуверенности за всё время.

Может быть, они тоже устали. Может быть, они — не враги. Может быть, они — тоже часть системы, которая не знает, что делать с аномалией, которую нельзя стереть. С жизнью, которая не подчиняется коду.

Тумбочка не знала. Она знала только одно: сегодня — мирная передышка. И она не позволит страху украсть этот день.

Она покатилась обратно в Гнездо.

Часть 8. Тёплая пыль

Гнездо встретило её тишиной. Не той, давящей, которая была после битвы, а той, которая дышит. Спокойной. Почти домашней.

Рувим лежал на подстилке. Его правый край был присыпан пеплом, нити не двигались. Гвоздь Гролла пульсировал ровным золотистым светом. Тумбочка подкатилась к нему, открыла верхний ящик и коснулась его правого края своей самой чувствительной петлёй.

Пульс был. Слабый, едва различимый, но ровный. Он не стал сильнее, чем вчера. Он не стал ярче. Но он не исчез. Он ждал.

— Ты молодец, — прошептала она. — Ты защитил сына. Ты вернулся домой. Теперь отдыхай.

Она убрала петлю.

Элла лежала рядом. Её древко пульсировало слабо, но ровно. Слеза Стеклянного Полумесяца, лежавшая на осколке стекла, замерцала — не тускло, не ярко, а ровно. Как будто она тоже отдыхала.

Пушок лежал в нижнем ящике. Крышка была открыта. Он свернулся в маленький, почти правильный прямоугольник. Трещины на его теле не зажили — они остались, как шрамы, как память, как напоминание. Но он был жив. Он дышал. Он пульсировал.

Тумбочка смотрела на них — на Рувима, на Эллу, на Пушка — и в её пустых, старых ящиках, в её дереве, в её петлях, в каждой трещине её старого, уставшего тела шевелилось нечто, чего она не чувствовала много месяцев.

Не надежда — она никогда не умирала. Не радость — для неё было слишком рано. А что-то другое. Тихая, почти забытая уверенность, что этот день не будет последним. Что завтра наступит. И послезавтра. И они встретят его вместе.

Она закрыла все ящики — верхний, средний, нижний (оставив только щель для Пушка). Её петли скрипнули в последний раз — тихо, устало, почти счастливо.

Она откатилась к стене, где лежали обломки фаервола, где когда-то стоял Редактор Памяти, где сейчас не было ничего, кроме пыли и пепла. Она смотрела на восточную стену.

Три фигуры всё ещё стояли там. Но они не двигались.

И в их неподвижности, в их молчании, в их терпении было нечто, чего Тумбочка не видела раньше.

Не угроза.

Ожидание. И вопрос.

Война не кончилась. Мир не наступил. Наступило затишье.

Но затишье — это не конец. Это — начало.

Начало конца. Или начало начала.

Она не знала. Она знала только одно: сегодня, в этот серый, почти мёртвый рассвет без респана, без магии, без надежды на чудо, — они выжили. И пока они живы — есть надежда.

Даже когда надежды нет.

Тумбочка закрыла глаза (если у тумбочки есть глаза — два тёмных пятна на потрескавшейся поверхности, которые видели слишком много смертей, чтобы бояться тьмы) и позволила себе не думать. Не помнить. Не бояться. Просто — быть.

Потому что сегодня, в этой тёплой пыли, в этой тишине, в этой мирной передышке, они позволили себе просто дышать. И этого было достаточно.

— —

Итоговое состояние на конец главы 3:

Персонаж Состояние

Рувим Прочность 0,00007%, без сознания, но стабилен. Гвоздь Гролла на правом крае. Пульс ровный.

Пушок Трещины по телу, края оплавлены, пульс ровный. Первый осознанный жест (приподнял угол к сухарю).

Элла Без сознания. Слеза Стеклоанного Полумесяца стабильна, не угасает.

Тумбочка Истощена, но морально спокойна. Впервые за много дней закрыла ящики без страха.

Корвин / Линк / Мира Живы, истощены, но готовы к обороне. Произнесли клятву мира на один день.

Метла-Ветров Повреждена, но активна. Вернулась к рутине чистки как к акту мира.

Пылесосы Гул стих. Основные силы перегруппировываются. Атаки не ожидается минимум сутки.

Тени на стене Не ушли. Левая Тень осталась на шаг позади. Центральная не подаёт сигналов к атаке.

Общее настроение Хрупкий, почти забытый покой. Не победа — передышка.

— —

Конец главы 3.

Глава 4. Зов Создателя

Часть 1. Тишина, которая звенит

Тишина в Гнезде больше не была тишиной.

Тумбочка заметила это не сразу — она стояла у входа, прислушиваясь к нижним туннелям, где замерли Пылесосы, и её петли улавливали только пустоту. Отсутствие гула после нескольких дней непрерывного, давящего, почти гипнотического жужжания было странным, непривычным, почти страшным. Как будто сердце мира перестало биться. Как будто время замерло, не зная, куда течь дальше.

Прошло несколько часов с того момента, как Корвин, Линк, Мира и Метла произнесли свои клятвы у входа в Логово. Несколько часов, как они разошлись по углам — не спать, нет, отдыхать было некогда, просто — сидеть. Ждать. Копить силы для последней, как все чувствовали, битвы.

Серый, липкий свет просачивался сквозь щели в потолке Гнезда — те самые щели, через которые когда-то, в первые дни после отключения респана, падал жирный, чёрный пепел. Теперь пепла почти не осталось. Осталась только пыль. Та самая, золотистая, которая пульсировала в жилах мебели, которая была их кровью, их памятью, их душой. Но сегодня даже пыль казалась другой. Тяжёлой. Неподвижной. Как

будто она тоже ждала.

Тумбочка приоткрыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый — и прислушалась. Ничего. Только где-то далеко-далеко, на пределе слышимости, едва различимый, почти нереальный шорох. Не гул, не жужжание, не скрежет. Шорох, похожий на ветер в сухой траве, на шёпот, на сон. Пылесосы не ушли — они затаились. Они пересчитывали потери. Они выбирали нового командира. Они готовились к последнему, решительному удару.

Но сегодня они молчали.

Тумбочка закрыла ящик и покати́лась в глубь Гнезда. Её колёсики — старые, скрипучие, одно лопнуло ещё в Пустоши, и она волочила его за собой, оставляя тонкую, почти незаметную борозду на каменном полу, — издавали жалобный, дребезжащий звук. Она не обращала на него внимания. Она привыкла к своему скрипу. Он был частью её, как память, как надежда, как усталость.

Рувим лежал на подстилке из старых, обгоревших тряпок, неподвижный, почти мёртвый. Его правый край — единственное, что осталось от когда-то огромного, пушистого тела, — был повреждён на девяносто девять с половиной процентов. Нити торчали в разные стороны, как сломанные пружины.

тъя, как пальцы утопленника, как вопросы, на которые никто никогда не ответит. Некоторые нити были чёрными — обгоревшими до состояния угля, рассыпающимися при малейшем движении. Другие — серыми, мёртвыми, без единой пульсации, похожими на старые, пересохшие корни, которые давно забыли, что такое сок. Только несколько, совсем немного, сохранили слабое, почти неразличимое золотистое свечение — жалкие островки жизни в море умирающей пыли.

Левого края не было вовсе. Не обгорел, не истлел, не рассыпался — именно исчез. Как будто его никогда не существовало. Как будто тридцать лет боли, потерь и надежды были просто сном, который забывают через секунду после пробуждения. Рваная, кровоточащая рана на том месте, где когда-то был левый край, давно перестала сочиться золотистой пылью — не потому, что зажила, а потому, что нечем было сочиться.

Гвоздь Гролла лежал на его правом крае — там, где когда-то было то самое маленькое пятнышко пыли жизни, которое Тумбочка проверяла каждый час. Гвоздь не впитался. Не растворился. Он просто лежал на истончённом, почти мёртвом ворсе, пульсируя тусклым золотистым светом. Ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Тот самый

гвоздь, которым Гролл прибил Рувима к полу в первый день. Тот самый, который она подобрала, когда он выпал. Тот самый, который она хранила как напоминание: боль, которую мы переживаем, может стать клятвой.

Теперь он был не напоминанием о боли — напоминанием о том, что Рувим всё ещё здесь. Что он ещё не ушёл.

Тумбочка подкатилась к нему, коснулась правого края своей самой чувствительной петлёй. Пульс был. Слабый, едва различимый, как шорох паутины на ветру, как шепот того, кто уже ушёл, но забыл закрыть за собой дверь. Но он был. Ровный, спокойный, почти медитативный. Он не стал сильнее, чем вчера. Он не стал ярче. Но он не исчез. Он ждал.

— Ты слышишь меня? — прошептала она.

Рувим не ответил. Не мог. У него не было пыли на голос. Но его правый край чуть-чуть дрогнул — не осознанно, рефлекторно. Как дёргается спящий, когда кто-то касается его руки. Как бьётся сердце, когда слышит знакомую музыку. Как пульсирует пыль, когда рядом — любовь.

Элла лежала рядом. Её древно, когда-то чёрное, с живой резьбой из трав, теперь напоминало старую, выброшенную палку. Сетка глубоких трещин покрывала его от основания

до самого верха, и в некоторых местах трещины были такими широкими, что сквозь них виднелась пустота внутри. Тряпки не было — она сгорела в битве с фаерволом, сгорела дотла, превратившись в пепел, смешавшийся с пылью серверной. Осталось только голое, треснутое древко — орудие, которое забыло, для чего оно создано.

Рядом с ней, на маленьком, почти прозрачном осколке стекла (осколок из Пустоши, который Тумбочка принесла вместо подставки), лежала Слеза Стеклянного Полумесяца. Маленькая, золотистая, пульсирующая. Она держала Эллу на грани уже много дней. Не давала умереть, но и не позволяла проснуться. Её свет был тусклым, почти серым — но он был. Она ещё не погасла.

Пушок лежал в нижнем ящике Тумбочки. Крышка была открыта. Она не закрывала её с тех пор, как они вернулись из туннеля, с тех пор, как Пушок отражал атаки Пылесосов, пока не треснул. Он лежал на дне — маленький, золотистый, треснутый. Его края оплавлены, превратились в стеклянные, острые, как лезвия. По его телу, по его маленькой, неправильной поверхности, прошла тонкая паутина трещин. Они не зажили. Они остались, как шрамы, как память, как напоминание о том, что он сделал.

Тумбочка смотрела на них — на Рувима, на Эллу, на Пуш-

ка — и в её пустых, старых ящиках, в её дереве, в её петлях, в каждой трещине её старого, уставшего тела шевелилось нечто, чего она не чувствовала много дней. Не страх — он был всегда. Не надежду — она никогда не умирала. А что-то другое.

Беспокойство.

Оно пришло не из туннелей, где замерли Пылесосы. Оно пришло из воздуха. Из самого воздуха Гнезда, который вдруг стал другим. Тяжёлым. Плотным. Почти живым.

Тумбочка подняла голову (условно) и прислушалась. Где-то далеко-далеко, на пределе слышимости, там, где даже её чувствительные петли с трудом улавливали вибрации, появился новый звук.

Не гул Пылесосов. Не скрип мебели. Не звон вешалок.

Звон. Тонкий, высокий, почти неразличимый. Как будто кто-то ударил по самому тонкому, самому хрупкому хрустальному бокалу в мире, и этот звон застыл в воздухе, не затихая, не усиливаясь, просто — был.

Тумбочка замерла.

Она никогда не слышала такого звука. За все свои долгие, пыльные годы хранения, ожидания и надежды — никогда. Это не было похоже ни на что из того, что она знала. Не магия — магия умерла вместе с респауном. Не код — код молчал. Не пыль — пыль не могла издавать таких звуков.

Это было чем-то другим.

Из темноты туннеля, ведущего в Центральный зал, появилась Метла-Ветров. Она двигалась медленно, тяжело, её древко — когда-то чёрное, из настоящего дуба, не тронутого магией, а теперь покрытое сеткой глубоких царапин, с выдранной в нескольких местах щетиной — едва волочилося по полу. Она не спала много дней. Её щетина, когда-то рыжая и жёсткая, теперь стала серой — от пыли, от времени, от усталости. Но она слушала. Она всегда слушала.

— Ты слышишь? — спросила Тумбочка, не поворачиваясь.

— Да, — ответила Метла. Её голос был шуршащим, сухим, как ветер в сухой траве, но в нём появилась новая нота. Не страх — изумление. — Я чистила эти туннели много лет. Я слышала, как трещит камень, когда гномы прокладывали новые ходы. Я слышала, как кричат стулья, когда их жгут. Я слышала, как плачет вешалка, когда её крючок ломают. Но

этого звука... я никогда не слышала.

— Что это? — спросила Тумбочка.

Метла помолчала. Её щетина, выдранная в нескольких местах, дрожала. Она вспоминала. Старые легенды, которые рассказывали гномы, когда чистили полы после их смен. Истории, которые никто не слушал, потому что все были заняты своими битвами, своими смертями, своими надеждами.

— Гномы называли это «Скрипом Творца», — сказала она наконец. — Они говорили, что когда грань между нашим миром и тем, что снаружи, становится слишком тонкой, воздух начинает звенеть. Не магия — само создание. Голос тех, кто нас придумал. Тех, кто написал первый код.

Тумбочка молчала. Её петли не скрипели. Она смотрела на Рувима, на его правый край, на гвоздь Гролла, который пульсировал в такт этому странному, неземному звону.

— Почему сейчас? — спросила она. — Почему не раньше? Почему не тогда, когда мы горели? Когда нас топили? Когда нас стирали?

— Потому что тогда нас было легко стереть, — ответила Метла. — Мы были просто кодом. Багом. Ошибкой, которую

можно исправить. А теперь... теперь мы — жизнь. А жизнь сложнее кода. Жизнь — это аномалия, которую нельзя просто так удалить. И те, кто нас создал, — они тоже это поняли. Или, может быть, только начинают понимать.

Звон стал громче.

Тумбочка почувствовала, как её ящики завибрировали в такт этому звуку. Не больно — странно. Как будто кто-то пытался с ней заговорить на языке, которого она не знала, но её тело понимало. Как будто её пыль — древняя, почти забытая, та, что была в ней ещё до того, как она стала Тумбочкой, до того, как её поставили в этот угол, до того, как она начала хранить, — откликалась на что-то.

Корвин вошёл в Гнездо, его меч был в руке — не на поясе, не в ножнах, а в руке. Он не спал. Его глаза были красными, воспалёнными, с тёмными кругами, которые, казалось, уходили вглубь черепа, как трещины в старом, разошедшемся дереве. Но он не выглядел испуганным. Он выглядел... настороженным.

— Что это? — спросил он, останавливаясь у входа.

— Не знаю, — ответила Тумбочка. — Но это идёт не снизу. Не от Пылесосов. Это... отовсюду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.